

Виталий Познин

ПЕРВЫЙ ГОД

Повесть

1



Виталий Федорович Познин родился в 1940 в Ростовe-на-Дону. Окончил Таганрогский государственный педагогический институт, Всесоюзный государственный институт кинематографии. Работал оператором, режиссером, сценаристом, художественным руководителем студии на «Леннаучфильме», собкором газеты «Советская культура». Доктор искусствоведения, профессор СПбГУ и СПбГИКиТ. Публиковался в федеральных литературных журналах и сборниках рассказов и повестей. Автор книг «Ночной трамвай», «Мужское и женское», «Чехов придуманный и настоящий». Член Союза кинематографистов и Союза журналистов России. Живет в Санкт-Петербурге.

На предпоследнем педсовете Нелли Геннадьевна затеяла разговор о половом воспитании.

— Сегодня у детей почему-то рано пробуждается интерес к вопросам секса, — пропищала она своим тонким, детским голосом и в подтверждение подняла над головой лист бумаги с рисунком, на котором была изображена женщина с осиной талией и непомерно широкими бедрами.

— Думаю, этот четвероклассник — не буду называть его имя — пытался изобразить меня. Видите, заколка в волосах та же, что у меня.

— Заколка похожа, — подтвердил учитель рисования.

— А вчера, — продолжала Нелли Геннадьевна, — захожу я на большой перемене в класс... И что я вижу? Вова Невинный спустил штанишки и танцует на парте. Ну вот скажите, что мне с ним делать?

— Натреть одно место... — буркнул учитель математики и, не торопясь, зашаркал к двери.

— Николай Николаич! Куда вы? Педсовет не кончился, — возмутился директор, но математик, ничего не ответив, уже скрылся за дверью.

— В общем, я хотела бы попросить кто-нибудь из наших мужчин поговорить с этим Вовой, — продолжала Нелли Геннадьевна. — Я, извините за выражение, все-таки женщина. Мне неудобно говорить на такие темы.

— Да, детišки теперъ такие, — сказал учитель рисования Виктор Викторович. — Как в анекдоте про Вовочку. Учитель объясняет: «Вот это классный журнал». — «А че в нем классного? — говорит Вовочка. — Вот “Плейбой” — это журнал!»

— Виктор Викторович, если вы такой веселый и находчивый, может быть, сходите домой к этому пацану и поговорите с ним по-мужски?

— Не, с детьми я на подобные темы не беседую.

— Тогда, Сергей Владимирович, попрошу вас как самого молодого из нашего мужского контингента, — обратился директор ко мне. — Думаю, вы сумеете объяснить этому юному стриптизеру, что к чему.

— А может, и Вовочка его чему-нибудь научит, — хмыкнул Виктор Викторович...

2

На следующий день я отправился к Воле Невинному.

По описаниям Нелли Геннадьевны мальчик жил в верхней части деревни. Тут преобладали солидные, окруженные высокими заборами дома. Рядом с ними старые одноэтажные домишки выглядели так, как смотрятся утлые суденышки рядом с могучими лайнерами. В одном из таких старых домов, стоявших на самом краю деревни, и проживал Вова со своей бабушкой.

Как поведала мне Нелли Геннадьевна, отец мальчика умер три года назад и Вовкина мама уехала в город, пообещав при первой возможности забрать сына. Но минуло уже два года, а мать-кукушка лишь присылала посылки или какие-никакие деньги.

Постучав по ветхой, почерневшей от времени калитке, я вошел во двор и тут же наткнулся на козу с маленькими белыми козлятами. Увидев меня, козлята настороженно встрепенулись и, засеменя тонкими ножками, спрятались за матерью. Обойдя осторожно козлиное семейство, я направился вглубь двора, туда, где виднелась фигура склонившейся над грядкой старушки.

— Здравствуйте! — прокричал я.

Женщина медленно распрямылась и стала всматриваться вдаль.

— Я из школы! — продолжал я кричать так, будто мы были на разных берегах реки. — Хотел бы видеть вашего внука!

— Ой, беда-беда! — громко запричитала хозяйка, восприняв меня как гонца, принесшего страшную весть, и засеменяла навстречу. — Ох ты ж горяшко мое!.. Чем же то он вас понурил?.. Кыш! Кыш отседа!

Последнее относилось к курице, которая в поисках пищи нагло разгребала одну из грядок.

Приблизившись ко мне, старушка успокоилась и, отдышавшись, спросила:

— Шо ж воно, бисово отродье, натворило?

— Как вас зовут? — спросил я.

— Прасковья Тихоновна. Баба Пяня можете звать. Шо ж цей паразит нашкодыв?

— Да ничего страшного, Прасковья Тихоновна. Просто мы сейчас посещаем дома учеников. Смотрим условия, в каких они живут.

— Условья как условья. Накормлен, обут — и слава Богу. Мальчонка-то он хороший, добрый. Но без родителей какие условья? Ох-ох-ох!

— А где он сейчас?

— Ихто? Вовка? К ежикам пошел. Вовка! Вовчик! Ступай до хаты!

Из-за высокой травы на миг появилась круглая физиономия и тут же исчезла.

— Иди сюда, паршивец! Учитель тебя требует.

Голова вновь появилась из-за травы, и мальчишка направил к нам. Коленки его были черными от земли, на голом пузе красовались, как моря на глобусе, живописные разводы.

— Привет! — сказал я. — Я — Сергей Владимирович, учитель.

— Я знаю, — отозвался Вовка. — Я вас видел.

Голос у мальчишки был низкий и сипловатый, будто простуженный.

— Я зараз стол накрою, — сказала баба Паня и пошла к дому.

— А где твои ежики? — спросил я.

— Спят. А ночью на охоту ходят. Я все хочу узнать, как они размножаются.

— Ну, наверное, как все живородящие, — предположил я.

— Про других-то я знаю. Вот наша Люська недавно принесла шесть котят.

Пятерых, правда, пришлось сничтожить.

— Как это?

— Ну, притопить. В ведрце. Я б их всех оставил, но баушка говорит, что самим жрать нечего.

— И кто ж их топил?

— Я. Кто ж еще? Мужиков-то в доме нет...

Тело его вдруг напряглось, надулось, отчего он стал похож на большую гладкую гусеницу. Сорвавшись с места, Вовка кинулся стремглав к забору и вновь потерялся в высокой траве. Через пару секунд он появился вновь и с довольным выражением лица, перебрасывая с ладони на ладонь крупное куриное яйцо, будто оно обжигало ему руки, сказал весело:

— Попалася, курва!

Ударил острым концом яйца по шляпке гвоздя, торчавшего из доски сарая, вылил содержимое яйца в рот и пояснил:

— У нас тут одна кура одичала. Несется, где попало. А я сразу чую, когда она хочет снести. Яички я жуть как люблю. Могу съесть зараз десять штук...

В низеньком проеме двери показалась баба Паня и позвала меня «вечерять».

Я отвел мальчика в сторонку, решив, что уже пора начать разговор, ради которого я сюда заявился.

— Слушай, Вова, — сказал я. — Мне надо потолковать с тобой. Как мужчина с женщиной... Это правда, что ты прыгал на парте голый?

— Неправда. Я не голый был.

— Ну, хорошо. Ты был не голый. Ты просто был без штанов. И без трусов. Так? И прыгал на парте, показывая свое мужское достоинство.

— Ничего я не показывал. Я просто прыгал. Танцевал.

— Ну, хорошо, танцевал. Но зачем при этом надо было снимать штаны?

— Чтоб смешней было. Меня даже на мобилу снимали.

— И тебе не стыдно было?

— Нет.

— А вот один умный человек сказал, что бесстыдство — первый признак слабоумия. Ты же не хочешь, чтобы тебя считали слабоумным?

— А пусть считают. Они меня все равно не любят.

— Ну, чтобы тебя любили, надо самому любить тех, кто вокруг тебя.

— Баушка мне тоже так говорит.

— Умная у тебя бабушка. А с тобой, Владимир, давай так договоримся. Если тебя будет кто обижать, ты ему или ничего не отвечай, или скажи ему: «Я тебя тоже люблю». Кого всегда дразнят? Тех, кто обижается. А если не будешь обижаться — всем надоест тебя дразнить... А когда тебе будет нужна помощь или ты захочешь что-то спросить, не стесняйся, подходи ко мне. Хорошо?.. А снимать штаны больше не надо. Ты ж не в Африке, где все голяком ходят.

В проеме двери появилась баба Паня и вновь позвала нас к столу.

— Ладно, иди, мой пузо! — сказал я.

— А вы баушке не скажите про *это*? — прошептал Вовка, когда баба Паня ушла в дом.

— Не скажу. Если ты обещаешь мне больше так не делать...

Баба Паня, как я ни отказывался, усадила меня за стол и поставила передо мной полную тарелку жареного картофеля, перемешанного с яичницей.

— Если шо надо из овощей иль фруктов, приходьте, не стесняйтесь, — сказала она. — У нас все свое, без всякой хымии...

— Ба, я схожу к Кольке телик посмотреть, — перебил ее Вовка, с трудом выпуская слова из набитого рта.

— Шо там смотреть-то? — проворчала беззлобно старушка. — Или речи маркотные без конца, или девок голых кажут. Мы вон не знали никаких телевизирей, и то времени не хватало. Ели картоху да огурцы и были веселы. И никаких хворей не знали. А нонче все завистью измаялись... И по телевизирю все смотрят на чужое богатство да на чужие радости. Ох-ох-ох!..

— Хороший мальчик, бойкий, — сказал я, наблюдая сквозь открытую дверь, как Вовка вытирает себя полотенцем.

— Не погибни Леха, все было б по-другому, — сказала баба Паня и прислонила конец фартука к глазам.

— А что с ним случилось?

Баба Паня посмотрела печально на подсевшего к столу Вовку и ничего не ответила.

Доев свою порцию, мальчишка убежал к соседям, и баба Паня, покряхтев и поохав, тоже поднялась.

— Я на минутку, — сказала она и пошла в огород.

Оставшись один, я пересел на длинную лавочку и усталился на стоявшую у стены узкую кровать, покрытую одеялом, сшитым из лоскутков тканей. Прямо попару «История советского текстиля»: с креп-жоржетом соседствовал скромный ситчик; на фоне синего бархата светилась ярко-желтая вискоза; рядом с абстрактным рисунком рассыпался веселый горошек. Наверное, каждый этот лоскуток у бабы Пани рождал свои воспоминания. Вот она смотрит на квадратик из красной ткани, и в нем, как в маленьком экранчике, перед ней возникает тот, кого она любила, — молодой, красивый, кудрявый; при взгляде на солнечно-желтый треугольник появляются лица ее детей; вот она переводит взгляд на фиолетовый лоскуток — и видит родные лица тех, кого давно уже нет на свете...

На деревянной лавке у приоткрытого окна лежали остро пахнущие пучки трав. Такие же точно травяные букетики, прикрепленные к веревочке, висели на окне, и в полной тишине слышно было, как они при дуновенье ветра елозят по стеклу.

— Вот, возьмите, — перебила мои размышления баба Паня — Собрала наско-рых. Наша домашность. Вовка, молодец, помогает мне, грех жаловаться. Возьми-те с собой, покушаете.

И выложила на стол яблоки, сливы и помидоры.

Чтобы не обижать ее, я открыл портфель и пересыпал туда дары природы. Ну вот, теперь я настоящий сельский учитель. Глядишь — скоро начнут благодарить яйцами и молоком...

— Это главная беда России, — сказал Андрей Ярышников, когда я рассказал ему о визите к Невинным. — Знаешь, как называлась самая первая пьеса Чехова? «Безотцовщина». И роман «Подросток» Достоевского — это фактически тоже о безотцовщине. А уж в двадцатом веке с его войнами и революциями в России во-

обще все легло на женские плечи. И в перестройку выжили тоже благодаря женщинам, которые добывали хлеб насущный. Мужики же наши в это время умирали или спивались. Да сейчас куда ни глянь — везде матери-одиночки...

Андрей преподает русский и литературу. Он окончил журфак, но так увлекся вдруг педагогикой, что начал писать только про школу. Потом съездил в Финляндию, познакомился там с их методиками, побывал в наших школах, где тоже пытаются делать все по-новому, и даже посетил изрядно постаревшего, но все еще бодрого Амонашвили. Теперь он решил попробовать себя на практике. Как всякий неофит, Ярышников при каждом удобном случае рассказывает о новых системах образования, но местные учителя не очень разделяют его восторги.

— Вот ты рассказывал нам недавно о своем любимом Амонашвили, — припомнил я. — А ведь это замечательно, что он преподавал в младших классах. Я тоже остался без отца рано, когда мне было семь лет. И мне повезло, что учителем в первом классе оказался мужчина. Это был, что называется, мужик. Суровый, властный. Мог подойти к болтуну, положить свою лапу на его голову и тихонько повернуть ее в сторону доски. Или шарахнуть по парте линейкой так, что все вздрагивали. Но при этом никогда никого не оскорблял и не унижал. Когда в классе начинался шум, Николай Иванович командовал: «Встать столбом! Руки вверх!» Руки у нас сразу уставали, и мы быстренько успокаивались... Мог посреди урока предложить спеть русскую песню. И еще у него было чувство юмора. Если кто-то получал пару, он писал в его дневнике: «Стремись к тройке!», если тройбан — «Стремись к четверке!»...

— Оригиналы! — усмехнулся Ярышников.

— Но кто-то из детей пожаловался на него родителям, и те обратились в горно. Пришла комиссия, опрашивала нас... В общем, Николай Иванович от нас убрали.

— И правильно сделали.

— Не знаю... Но я это к тому, что дело не в методиках, а в личности учителя...

Разговор этот мы вели с Андреем, направляясь в гости к нашему коллеге Ивану Матвеевичу, коренному жителю этого поселка.

Учителей нашей школы, как я уже успел заметить, можно разделить на две неравные половины — на тех, кто давно здесь живет, и тех, кто, как я, появился недавно. К последним, кроме Ярышникова, принадлежат две Геннадьевны — учительница начальных классов Нелли Геннадьевна и географичка Алла Геннадьевна. Коллеги за глаза называют их мышами. Наверное, потому, что они обе небольшого роста. А может, потому, что у Аллы Геннадьевны фамилия — Грызун, а у Нелли Геннадьевны детский писклявый голос. И, конечно, нельзя не упомянуть появившуюся здесь два года назад физичку Нину Михайловну Цупко, очаровательное хрупкое существо с чуть раскосыми глазами. Вот, собственно, и все молодые кадры. Говорят, в прошлом году тут решили попробовать себя две девицы с последнего курса пединститута, но через два месяца сбежали.

Иван Матвеевич Покатило, простоватый улыбчивый человек лет сорока, принадлежит к среднему поколению, но предпочитает дружить с молодыми — Ярышниковым и Цупко. Они уже бывали у него в гостях, а на этот раз он решил пригласить и меня.

Когда мы с Андреем вошли в дом, Покатило, его жена, двое их ребятишек и Нина Михайловна уже сидели за столом, плотно уставленным закусками и напитками.

— Как тебе наша школа? — спросил Иван Матвеевич, после того как мы выпили по третьей.

— Мне не с чем сравнивать, — сказал я. — Могу лишь сказать, что это хорошо, что среди учителей столько мужчин.

— А как тебе наш директор?

— Да вроде ничего мужик.

— А вот Андрей считает его ортодоксом, — кивнув в сторону Ярышникова, сказал Иван Матвеевич.

— Андрей просто очарован новациями. Школами с детским парламентом, полной свободой выбора и прочей мишурой, — сказала Нина.

— Да, нужны школы нового типа, если мы хотим, чтобы у страны было будущее, — ответил Андрей, поворотив рукой свой чубчик. — На улице двадцать второй век, а мы продолжаем, как тысячу лет назад, усаживать детей за парты. Впихиваем им в мозги ненужные знания, которые можно спокойно найти в интернете... Главная задача школы — научить ребят ориентироваться во множественном мире. А мы по-прежнему превращаем их головы в сточные канавы чужих мыслей.

— По мне, — опять возразила Нина, — лучше руководствоваться умными чужими мыслями, чем глупыми своими.

— Да я о другом вовсе, — поморщился Андрей. — О том, как формировать личность. То есть делать то, чем наша школа, похоже, заниматься и не собирается.

— Ну, зачем же всех лишать звания личности? — опять возразила Цупко. — Просто далеко не все стремятся продемонстрировать свою индивидуальность.

— Ну, тогда мы можем и муравья обсуждать, как личность. Но очень скрытную, — хмыкнул Ярышников.

— Давайте, ребята, выпьем за все доброе, — сказал Покатило, желая прекратить спор, а его жена Марья Ивановна, которая до этого молчала, с мягкой улыбкой обратилась к Цупко:

— Вы б спели нам, Ниночка. — И, повернувшись ко мне, добавила: — Знаете, Сережа, как она хорошо поет!

Покатило снял со стены гитару с голубой лентой на грифе и протянул Нине. Цупко взяла инструмент, настроила его неторопливо и, прикрыв свои слегка раскосые глаза, запела неожиданным для ее хрупкой фигуры низким грудным голосом:

Не корите меня, не браните,
Не любить я его не могла...

Пела она негромко, душевно, с небольшими паузами, и казалось, что песня рождается на наших глазах.

— Сегодня таких песен не поют. Да и не знают, — с грустью сказала Марья Ивановна, когда Цупко закончила петь и все, включая детей, громко захлопали в ладоши. — А как ваша дочурка, Ниночка?

— Спасибо, ничего, — ответила Нина. — Сегодня, слава Богу, она рано заснула. Анна Сергеевна относится к ней, как к родной... А вашему Степе в следующем году уже в школу?

— Да, растут дети, — отозвалась Марья Ивановна.

Неугомонные мальчишки в это время, нацепив маски пиратов и энергично размахивая саблями и пистолетами, принялись носиться по комнатам, как угорелые. Прячась от преследующего его брата, младший затаился за стоявшим на ножках большим старым телевизором и вдруг, опершись руками о стену, стал давить на телевизор спиной. Иван Матвеевич вскочил и едва успел подхватить падающий на пол телевизор. Я ожидал, что малец тут же получит от отца заслуженную затрещину, но Покатило, вернув телевизору былую устойчивость, присел за стол и, как ни в чем не бывало, продолжил прерванный разговор...

— Ну, вы прямо, как японцы, — подивился я. — Говорят, те до семи лет позволяют детям все, что угодно, и не наказывают их.

— Молодец, Иван Матвеевич, — сказал Ярышников. — Дети лучше и чище нас. И это не они должны нас слушаться, а мы их слышать...

— Мне кажется, — вмешался я в спор, — тут две стороны медали. Я имею в виду, что не надо забывать и об уважении к учителю... Вы думаете, Макаренко мог бы что-то сделать с бывшими беспризорниками, если бы не был личностью?

— Никто не спорит, — не сдавался Андрей, — личность учителя, конечно же, важна, но сейчас мы говорим в целом об отношении к детям.

— То есть, по методике гуманного воспитания, — подключился к разговору Иван Матвеевич, — выходит, что Нелли Геннадьевна должна была сказать пляшущему голяком пацану: «Ой, какой молодец! Мы так ждали, когда же ты нам так спляшешь».

— Ну, не надо передергивать! — ответил Ярышников. — Тут случай особый. С пацаном просто надо было побеседовать. Надеюсь, Сергей это и сделал. А вот что касается гуманистического воспитания...

— Давайте лучше выпьем за радушных хозяев, за их дом, за их детей! — предложила Цупко...

Распроцавившись с хозяевами, которые никак не хотели нас отпускать, и проведив Нину до дома, где она снимала жилье, мы с Андреем пошли не торопясь вдоль сельской улицы. В конце ее, будто маяк, то загоралась, то гасла лампочка на столбе.

Потом мы свернули вправо и побрели вдоль пруда. Небо было ясным, воздух тих, и на неподвижной поверхности пруда отражались яркие крупные звезды.

— Славная семья у Покатило, — сказал я. — И дети у Ивана замечательные.

— А это не его дети. Он взял Машку уже с двумя ее детьми. Поэтому и боится их строжить.

— А Нина как чудно поет! — продолжал я переваривать впечатления. — Вообще, наверное, на свете больше хороших женщин, чем мужчин... Странно, что она одна.

— Почему одна? — хмыкнул Андрей.

— Что ты имеешь в виду?

— Ладно, как-нибудь потом.. — И Ярышников свернул в сторону пятиэтажек.

4

Подобно Нине, я пока тоже снимаю комнату, хотя решил поехать сюда во многом из-за того, что директор школы пообещал отдельную квартиру. Но когда я в конце августа прибыл в поселок, он ошарашил меня, заявив, что пока что свободной квартиры нет.

— Я по телефону не стал тебе говорить, чтобы не спугнуть, — сказал он. — Но, клянусь, будет тебе квартира.

На вид Павлу Николаевичу Курепову — под пятьдесят. Вид у него суровый, даже мрачноватый, и густые брови, которые он постоянно крутит пальцами, еще больше усиливают это впечатление.

— Будет. Со временем. Я тебе обещаю, — повторил он.

И вдруг гаркнул так, что я вздрогнул:

— Ермолаич!

В комнате тотчас, будто он ждал, когда же его кликнут, возник мужик в очках, выпуклые стекла которых делали его зрачки огромными, как у коровы.

— Мой зам по хозяйству. Николай Ермолаевич... А это новый учитель. Сергей Владимирович. Историю будет вести, — представил нас директор.

— Это ничего, — отозвался Ермолаич. — Лишь бы человек был хороший.

— Надо бы пристроить молодого специалиста, — продолжал Павел Николаевич. — Сведи-ка его к Шуре.

— К Шуре? — Ермолаич задумался. — Не, к Шуре никак. Она ж вроде это... молодуха.

— Это тебе — молодуха. А ему — старуха. Я с ней уже договорился. Короче, своди! Чтоб не блукал. А Шуре скажи — все оплатим. И с угольком поможем.

Мы вышли с Ермолаичем на улицу и побрели по железнодорожной насыпи. Ермолаич шел молча, попыхивая сигаретой и выпуская время от времени клубы вонючего дыма. Я тащился следом, как прицепной вагон за паровозом.

Минут через пять завхоз спросил:

— Историей, значит, занимать будешь?

— Угу.

— А языки иностранные знаешь?

— Английский знаю.

— А немецкий?

— Не очень.

— Жаль. А то б поговорили, — сказал Ермолаич и опять смолк.

Вокруг было тихо, безлюдно, лишь по тропинке под насыпью неторопливо брел мужик в ватнике.

— Леха, ты куда? — окликнул его Ермолаич.

Мужик остановился и тускло поглядел вверх.

— Може, хватит уже водку жрать? — сказал Ермолаич и, сбежав вниз, встал преградой на пути мужчины.

Недолгая их возня кончилась тем, что мужик рухнул на траву и остался там лежать недвижно. Старик сплюнул, вернулся назад, и мы продолжили свой путь в том же порядке.

— Он же простынет, — сказал я. — Надо бы его поднять.

— Да ниче с им не сдееся, — не оборачиваясь, ответил Ермолаич. — На обратной стороне подберу.

И, помолчав, добавил:

— Сын это мой. Третьего дня у их двое в шахте погибли. Вот и поминают...

Он свернул резко влево и сбежал вниз по еле видимой тропинке. Из высокой травы тотчас высунули свои длинные шеи гуси и угрожающе зашипели на нежданных пришельцев.

Дойдя до последнего из домов, Ермолаич громко прокричал несколько раз имя хозяйки, после чего принялся тарабанить по калитке железным кольцом. Поднятый им шум вызвал бешеный гнев дворового пса. Один конец собачьей цепи был привязан к ошейнику, второй же, как пантограф троллейбуса, передвигался по натянутой над двором проволоке, что позволяло псине свободно метаться в любом направлении, издавая истошный лай.

Какофония звуков, производимых Ермолаичем, собакой и цепью, продолжалась минут пять. Наконец, на крыльце появилась женщина в пестром платье.

— Шура, ты это... Дилехтор школы... в общем, Николаич просил, чтоб ты его тово... приютила. Это новый учитель, — начал было Ермолаич, но Шура, не дослушав его объяснений, сказала, махнув рукой:

— А нехай селится!

И пошла успокаивать собаку.

— Ну, я, значит, потопал, — Ермолаич вставил в рот очередную сигарету и пошел подбирать своего непутевого сына.

— Боюсь, причину вам неудобство, — замямлил я, проходя за Шурой в дом.

— Да ну, шо зря! У меня места богато. Пошлите в залу! — отозвалась хозяйка и, отдернув занавеску, заменявшую ей дверь, двинулась вперед с видом экскурсовода.

В «зале» действительно было что-то музейное. На стенах пристроилось большое количество застекленных рам: тут были и большие фотопортреты, и множество маленьких карточек, собранных вместе в одном застеколье.

У окна, выходящего на веранду, примостился выпуклый, точно накачанный воздухом, диван с прикрепленной к его спинке кружевной полоской.

Но главным экспонатом «залы» была сверкающая никелем двуспальная кровать. Кровать с большой буквы. Будто с витрины магазина для новобрачных. Над кроватью висел коврик с двумя бежевыми оленями, нежно положившими головы на шею друг дружке.

— Вот тут и располагайтесь, — сказала хозяйка. — Я все равно в маленькой комнатке размещаться привыкла. Живите себе на здоровье!

Мы присели за круглый столик, стоящий посреди комнаты, и Шура, подвигав бесцельно маленькую фарфоровую вазочку с надписью «С 8 Марта!», начала светскую беседу:

— Погода сегодня хорошая. А в городе дождик был?

— Нет, не было.

— Когда в город будете, привозите оттудова хлеб. Там хлеб хороший, настоящий.

— А столовая здесь есть? — спросил я.

— Ага. Недалеко от школы... Ой, вы ж небось не обедали ишшо? Я счас вправлюсь.

— Спасибо, спасибо, я сыт.

— Ну, дело хозяйское.

В полной тишине стало слышно, как на кухне цокают ходики, а в сарае похрюкивает свинья.

— А у нас вчера поросенок подорвался, — сказала Шура.

— Где подорвался?

— А на поле. Стал мордой землю рыть и напоролся на мину. В кусочки его, бедного. Как гуляш.

— Господи, откуда здесь мины?

— А с войны. Вроде б все разминировали в свое время, а кой-что все ж осталось. Они лежат-лежат, а потом земля их вроде как выталкивает, — Шура помолчала и добавила. — А летом у нас электрика убило.

— Тоже мина?

— Не. Пьяный был, сделал замыкание.

— А-а, — понимающе покивал я.

— А на прошлой неделе Петро Звягин перевернулся с сенокопнителем.

— Пьяный был?

— Не, тверезый. Не расчел маленько, когда охапку подымал, и перевернулся.

В больничке теперь...

В конце беседы Шура сказала:

— Это я сегодня дома. А обыкновенно утром на работу сбегаю. И ночью тока приползаю. Так что вам тут беспокойно не будет.

И без всякого перехода:

— А вы женаты?

— Нет еще.

— А я — уже нет.

Заслышав, что ровное, будто шум дизеля, похрюкиванье свиньи сменилось требовательных визгом, Шура сказала весело:

— Теперь вот мой хозяин. Подкормки требует, утробина. Ладно, располагайтесь, не буду вас смущать...

Иногда я наведываюсь в небольшой городок Н-ск, что неподалеку от поселка. Покупаю там книги, разные мелочи, а по просьбе хозяйки — вкусный хлеб из местной пекарни. Туда я добираюсь автобусом, а возвращаюсь обычно на попутке.

На этот раз в ответ на мои призывные жесты тормознул покрытый засохшей грязью оранжевый КамАЗ.

Едва отъехали от автобусной станции, водитель сказал: «Подберем деваху?» — и, не дожидаясь ответа, тормознул около девушки с большой сумкой.

— Куда путь держим? — строго спросил он, когда попутчица уселась рядом со мной.

— В интернат для престарелых.

— К мамане или бабуле?

— Да нет, я там медсестрой работаю. Старушки, как узнают, что я еду в город, просят купить разные мелочи. Вот везу им кое-чего. — Она указала на туго набитую сумку.

— Больше там некому этим заняться? — спросил шофер.

— Не знаю. Они почему-то меня просят. А я не могу отказать. Они такие беспомощные... Вчера вот случай был. Родственники привезли на иномарке старушку. Высадили ее на шоссе, показали куда идти и уехали. Потому что их иномарка по той дороге не смогла бы проехать... В общем, она своим ходом к нам и доковыляла. Сдала документы, села на диван и заплакала. Целый день плакала.

Девушка погрузилась, замолчала, глядя в мутноватое боковое стекло, за которым замелькали желтые и красные деревья. Так, в молчании, мы ехали минут пять. Вдруг водитель сказал громко, будто спорил с кем:

— Сами виноваты! Так, значит, деток своих воспитали!

— Вы не правы, — мягко возразила девушка. — У кого-то из них вообще детей нет. А бывает и так, что дети умирают раньше родителей...

— Все равно, — не сдавался шофер. — Старость всем воздает по заслугам. Как живет человек, так и ветшает.

— Нельзя так рассуждать. Любая старость — это печаль. Особенно одинокая старость...

— А я до старости доживать не собираюсь, — сказал водитель. — Если вдруг всерьез заболеть, то яду приму. Чтоб ни себя, ни близких не мучить. Жалость терпеть не могу.

— А мне наоборот — всех жалко, — сказала девушка. — Я когда заканчивала училище, меня позвали участвовать в экспериментах. На кошках. Им черепа вскрывали и вживляли туда электроды. А мне надо было им уколы делать... После этого меня саму лечиться отправили — невроз начался... Ой, остановите, пожалуйста, у той развилки!

Она поклевала ноготком по стеклу, указывая на перекресток.

— Пожалуй, я тоже тут сойду, — сказал я. — Мне отсюда недалеко.

Я предложил водителю денег, но он наотрез отказался. Мрачно кивнул головой в ответ на наши прощальные слова и, с силой захлопнув дверцу, покотил дальше.

— Зря вы время теряете, — сказала девушка. — Я сама спокойной дошла бы. Не в первый раз...

Мы перешли шоссе и побрели по проселочной дороге. Изуродованный машинами грунт походил здесь на лунный пейзаж — бугры и ямы.

— Теплая осень в этом году, — сказала девушка и аппетитно вдохнула воздух, напоенный запахом трав.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Света. А вас?

— Сергей.

— А по отчеству?

— Зачем вам отчество?

— Вы же учитель, — сказала Света и, заметив мое удивление, пояснила: — Я вас несколько раз видела возле школы. Я ведь еще и в поселковой больнице работаю.

— А как вы добираетесь из города в распутицу?

— Так и добираться... Ну вот, мы и пришли. Видите впереди церковку? Слева от нее — интернат для престарелых. Здесь его дворцом называют. Потому что до революции тут была барская усадьба.

Мы свернули влево и вышли к двухэтажному зданию с круглыми колоннами. Со стен «дворца» грязными струпами свисали слои старой краски, а основания колонн были основательно изуродованы сколами — будто колонны пытались подрубить, как деревья. Массивные гранитные ступени «дворца» тоже были покорежены, сдвинуты, похоже, по ним прокатился кто-то на тракторе. И все равно в облике дома продолжала жить красота, как живет красота в благородных стариках — печальная, немощная, но все же красота.

— И много народу в этом «дворце»? — спросил я.

— Человек сто, наверное. Кто-то приходит, кто-то уходит. Я имею в виду — навсегда. Хоронят их вон там, на кладбище, рядом с интернатом... На многих могилах нет даже фамилий. Только номера на деревянных столбиках. А бывает так, что в интернат попадают сразу муж и жена. Тогда, если один умирает, другой ставит ему надгробье, а заодно просит написать и свое имя. Я сначала никак не могла понять, почему на некоторых могилах стоит только год рождения, после него черточка — и все...

— Да, весело у вас тут.

— Спасибо, что помогли, — сказала Светлана, забирая у меня сумку. — Вам нужно обойти дом справа. А дальше — по дорожке, никуда не сворачивая...

Я обогнул «дворец», спустился по пологому пригорку вниз и вышел к старой липовой аллее. Черные стволы деревьев, ровный желтый покров листьев на земле, полумрак и полная тишина — все это после рассказа девушки о кладбище создавало странное, пугающее впечатление.

Шуры дома не было. Я прошел в свою комнату, сел за стол и начал проверять тетрадки с заданием. Первой попалась на глаза тетрадь Наташи Миленок, девочки с большими серыми глазами. Последнее время она почему-то сидит на первой парте — поменялась местами с другой девочкой.

Страница с новым домашним заданием в тетради Наташи была отмечена закладкой — узкой полоской бумаги с изображенными на ней красивыми цветами и приклеенным на конце этой полоски маленьким красным сердечком. От закладки исходил пряный запах духов.

Я вышел во двор и присел на скамейку. Вокруг было темно и тихо, лишь в доме напротив одно из окошек светилось мягким розовым светом. Где-то вдалеке сбивчиво играла гармошка, и женский голос пел протяжную песню. С клена, стоявшего у дома, упал на колени большой желтый лист — как весточка от осени, входившей незаметно в свои права...

Почти каждый день я взбираюсь на длинную, как римский виадук, насыпь, пересекающую глубокий овраг, и бреду в школу по тропинке, по которой когда-то меня провел первый раз Ермолаич.

Насыпь была когда-то сооружена здесь для того, чтобы протянуть к шахтам

одноклещу. Лет через двести, когда тут не будет уже ни шахт, ни рельсов, помки будут ломать голову над тем, что же это было такое — плотина, скифский могильник или след, оставленный мезозойским кротом.

Насыпь — как зримая «грань между городом и деревней». По одну ее сторону — одноэтажные или двухэтажные деревенские дома с большими дворами и садами-огородами; по другую — безликие близнецы-пятиэтажки, где живут шахтеры.

...Прошло уже полгода с того дня, как я тут появился. Никаких особых событий за это время в моей жизни не произошло. За исключением одного, но для меня важного: в конце зимы Шура решила вдруг выйти замуж за слесаря с шахты, и это значило, что мне надо подыскивать новое жилище.

За два дня до свадьбы во двор пришел резчик Гоша Сычугин, молодой крепкий парень с вьющимися волосами. Он работал в забое, но заодно занимался умерщвлением свиней и разделкой их туш, получая за это деньги и солидный кусок мяса.

Войдя во двор, Гоша положил на снег холщовую сумку и стал неспешно извлекать из нее дежурный набор — нож с длинным острым лезвием, закопченную пальную лампу и моток веревки. Велев Шуре поставить корыто для крови, Гоша смачно высморкался в огромный красный платок и пошел в сарай посмотреть, как он выразился, на «объект».

Я поспешил убраться из дома, чтобы не видеть, как будут убивать несчастное животное, к которому я успел привыкнуть. Но не дойдя до школы, услышал пронизавший зимнюю тишину долгий предсмертный вопль свиньи.

Когда, побродив по поселку, я вернулся обратно, во дворе уже все было прибрано. Только на снегу ярко светились пятна крови, а в воздухе висел запах паленой щетины.

Шура и забойщик Сычугин уже трапезничали на кухне, азартно поедая куски жареного мяса.

Хозяйка усадила меня за стол и набросала в тарелку прожаренное сало и мясо. Я поклевал для приличия, но есть так и не смог, несмотря на все ее увещевания.

На мое счастье, Сычугин отвлек Шурино внимание.

— Слабовата у тебя самогонка, Ляксева, — сказал он после того, как залил в себя очередной стаканчик жидкости. — У кого брала?

— Вот еще выдумал! — обиделась Шура. — Слабовата! На, смотри!

Она взяла бутылку с надписью «Молоко» и, осторожно налив из нее самогон в столовую ложку, велела забойщику поджечь зелье. Сычугин чиркнул зажигалкой, и над ложкой вспыхнуло еле заметное голубоватое пламя. Несколько капель жидкости упали на скатерть и продолжили там гореть, тускло фосфоресцируя. Шура спешно смела их, будто насекомых, со стола, и сказала торжествующе:

— Ну?.. А ты — сла-абовата!

— Ла, убедила, — хмыкнул Сычугин и, плеснув самогон в поставленный для меня стакан, предложил: — Давай, учитель, хлебни молочка! Из-под бешеной коровки. В натуре! Ла, за твое семейное счастье, Ляксева!

Осушив залпом свой стакан, Гоша потянулся к большой алюминиевой кружке, чтобы выпить спиртное. Когда он поставил кружку на место, я увидел на его подбородке красную струйку — забойщик запивал самогон свежей кровью...

Семейное счастье, которое желал Шуре Сычугин, так и не пришло в ее дом. Шурин жених, слесарь Самарин, в последний момент почему-то передумал жениться. Точнее, решил вернуться к бывшей жене.

Шура опечалилась, но долго грустить она не умела. Через неделю хозяйка купила нового поросенка и назвала его Пашкой. По имени несостоявшегося мужа. Дома Шура стала бывать еще реже, больше пропадала у болеющей матери...

В конце апреля Нина Цупко пригласила меня на свой день рождения.

Дверь открыла мне хозяйка Анна Сергеевна, милая старушенция, напоминающая добродушную ватную куклу, какую раньше ставили на заварной чайник.

Заслышав в прихожей голоса, из комнаты выбежала девочка лет пяти с большим красным бантом на стриженной голове — даже непонятно было, каким образом этот бант держится у нее на затылке.

— Меня зовут Вика, — сказала она. — А вас?

Ответить я не успел, потому что пришли супруги Покатило, а следом за ними — Андрей. Все шумно прошли в «залу» и рассеялись там — кто на диване, кто на стульях.

Иван Матвеевич, который недавно вернулся с конференции, проходившей в областном центре, тут же принялся делиться впечатлениями.

— Все это демагогия, — прервал его рассказ Андрей. — Главное, что сегодня нужно, это свободное общение учителя и ученика. Ян Коменский говорит о том, что уже сама атмосфера школы должна формировать личность ребенка...

— Помню, на экзамене, — сказала Нина, — одной из сокурсниц попался билет про Яна Амоса Коменского. И она вместо «Ян Амос» все время говорила: «Янос Амос Коменский, Янос Амос...»

Все засмеялись и начали вспоминать похожие случаи, но Ярышникова не так-то просто было сбить с его любимой темы.

— Почему у нас по-прежнему везде хамство и агрессия? — продолжал он. — Потому что это следы того самого рабского ощущения, о котором говорил Чехов. Ведь именно раб больше всего любит унижать другого. Моисей водил своих людей сорок лет не потому, что заплутал, а потому что ждал, когда родится третье, свободное от рабского чувства поколение...

— Ой, я уже сто раз про это слышала! — перебила его Нина. — Только почему все забывают, чем эти сорок лет блужданий закончились.

— И чем же?

— Поклонением Золотому тельцу.

— Я о том лишь, — продолжал Ярышников, жестикулируя синхронно двумя руками и скандируя слова, — что все начинается со школы. И что задача школы сегодня — не накапливать факты в головах учеников, а научить их мыслить, сопоставлять, обобщать...

— Не знаю, что и как они обобщают, — возразила Цупко, — но все почему-то жалуются на то, что уровень грамотности и культуры упал.

Ярышников опять хотел возразить, но тут появилась Анна Сергеевна, позвала Нину Михайловну на кухню, а нам велела садиться за стол.

— Дорогая Ниночка, — сказал я, когда настала моя очередь произносить тост, — мы с вами знакомы совсем недолго. Но кто знает — может быть, первое наше представление о человеке и есть самое верное. Когда я вас увидел, вы мне сразу понравились. Мне кажется, в вас гармонично соединилось несоединимое: нежная душа и стойкий, можно сказать, мужественный характер... Это замечательно, когда в школе есть нежные, хрупкие и красивые учительницы. Это хорошо не только для учеников, но и для учителей...

Я замолчал, собираясь с мыслями, и Нина Михайловна, улыбнувшись смущенно и лукаво, подбодрила меня:

— Говорите, говорите еще.

— Дядя Паша пришел! — закричала вдруг маленькая Вика, услышав шум в сенях, и соскочила со стула.

Нина Михайловна тоже поднялась и пошла торопливо следом за дочерью. Вско-

ре она вернулась в сопровождении Павла Николаевича, прижимая к груди роскошный букет алых роз.

— Дядя Паша, а мне ты подарок принес? — спросила Вика.

— Вика, ну что ты такое говоришь? — приструнила дочь Нина Михайловна.

— Ну, разве мог я тебя забыть, — сказал, улыбаясь, Павел Николаевич и, вынув из сумки большую красочную книжку и набор фломастеров, вручил их Вике.

— Пасибо, — сказала девочка и, развернувшись, умчалась с подарками в другую комнату.

— Завтра еду в город. Окончательно решается вопрос о переселении школы, — начал было директор, но тут Анна Сергеевна, хозяйка квартиры, которую, очевидно, утомили сегодняшние хлопоты и малопонятные ей разговоры гостей, нечаянно зевнула, издав тонкий скулящий звук.

Все засмеялись, а Анна Сергеевна, сконфузившись, ушла на кухню готовить чай.

— Она сегодня на ногах ни свет ни заря, — сказала Нина Михайловна. — Анна Сергеевна — мой добрый ангел.

— Ниночка, вы спели б нам что-нибудь, — попросила Марья

Нина Михайловна принесла из своей комнаты гитару и стала ее настраивать. Все сразу расслабились, отодвинулись подальше от стола, а Павел Николаевич переместился на диванчик и, слегка покачивая головой, внимательно слушал, как поет Нина Михайловна.

Когда песня закончилась, он поманил меня пальцем и, приблизив голову к моему уху, сказал полупшепотом:

— Вопрос с переселением школы окончательно решен. Дом престарелых на днях переводят под Н-ск, а «дворец» отдают нам. А главное — деньги на ремонт выделяют. Я, в связи с этим, вот о чем хотел тебя попросить, Сережа...

Нина Михайловна снова начала петь, и Павел Николаевич смолк, заслушался, покачивая пальцами свои лохматые брови. Я хотел вернуться на свое место, но директор удержал меня, ухватив за локоть, и, когда Нина закончила пение, сказал негромко:

— Да, и еще вот что. В доме спецов квартира освободилась. Правда, на первом этаже. Так что хоть завтра можешь селиться.

И, поднявшись, стал прощаться.

После его ухода все сразу почувствовали себя свободней, раскованней, и лишь Анна Сергеевна все охала и жалела, что Павел Николаевич ушел так рано.

— Все б начальники такие были, — приговаривала она. — Какой хороший человек!.. А скока на его долю выпало!..

Хозяйка повернула голову в сторону висевшей в углу иконе с горящей под ней красной лампадкой и трижды перекрестилась.

— У Пал Николаича жена парализована, — обращаясь ко мне, пояснила Марья Ивановна. — После инсульта.

— Это после смерти сыночка с ей случилось, — подхватила Анна Сергеевна. — Он в городе учился. И какие-то нелюди его убили. Женей его звали. А тех, кто убил, так и не нашли... А какой красивый был мальчик!.. Когда хоронили его, Зинка еще держалась. Поминки справила, как надо. А на следующий ден слегла: всю праву сторону у ей отняло. Уж какой год он за ей ухаживает.

Старушка смолкла и, повернувшись к иконе, снова закрестилась часто.

Мы выпили еще раз за здоровье именинницы и стали прощаться.

— Вот незадача! — сокрушался шутливо Покатило, похлопывая себя ладонями по бокам. — Давал же себе слово не объедаться. Но так вкусно все было. Придется живот на тачке везти.

— А вы с тачкой пришли? — спросила Вика, и все громко засмеялись.

Распрощавшись на перекрестке с супругами Покатило, мы с Ярышниковым побрели дальше.

Весенняя ночь была пропитана запахами цветущих яблонь и вишен. Звезды на черном небе сверкали ярко, отчетливо, и казалось, что они висят совсем рядом.

Ярышников шел молча. Я давно заметил, что красноречие на него нападает лишь тогда, когда поблизости не меньше трех человек.

— Скоро я стану твоим соседом, — сказал я. Мне не терпелось поделиться с ним своей радостью. — Там квартира освободилась.

Андрей продолжал идти молча. Будто не слышал меня. И лишь спустя минуту произнес:

— На него роно, похоже, начало накат, вот он и вербует сторонников. Мне сказал, что хочет двинуть меня на «Учителя года».

— Ну так ты этого заслуживаешь... Андрей, а правда, что ты еще и в аспирантуре учишься?

— Ну. Я-то сюда устроился, чтобы материал собирать. А вот ты чего ради в эту дыру притаился, не знаю.

— Ну, так получилось. Я ж тоже «безотцовщина». Отец рано умер, мать с горя запыла, и ее лишили родительских прав. Сначала жил у родственников, потом в общаге. И так захотелось иметь, как говорится, свой угол. А тут пообещали жилье...

Андрей продолжал идти молча.

— Почему ты так не любишь Николаича? — спросил я. — Он, конечно, иногда самодурит, но по мне — лучше такие мужики, от которых знаешь, чего ждать, чем темнили... А после того, что я узнал о нем сегодня...

— Угу, — хмуро отозвался Ярышников и, помолчав, добавил: — Помню, у нас на первом курсе умер студент. Когда его хоронили, одна преподавательница все причитала: «А я ему тройку поставила. Ах, если б я знала!»

— Это ты к чему?

— А к тому, что у каждого свои беды и заботы. Но к делу это не имеет отношения.

Мне не хотелось с ним спорить.

— А Нина мне понравилась, — сказал я. — Какая она женственная, хрупкая, беззащитная!

— Как раз такие «беззащитные» — обычно самые практичные... Заметил, как ловко она пристроилась при Анне Сергеевне? Ей ведь тоже предлагали отдельную квартиру, но она отказалась. Потому что у этой хозяйки она как у Христа за пазухой.

— Ну, не знаю...

— А то, что Пал Николаич — не такой уж редкий гость в этом доме, тоже не усек?

— И что из этого?

— Не думаешь же ты, что он ходит в гости к Анне Сергеевне?

— Что ты имеешь в виду?

— А то, что Нинуля опять сделала удачный выбор.

— Какой выбор? У Курепова жена. Да он и старше Нины намного.

— Ну, такие, как она, как раз любят, чтоб мужик был для них как отец... Ладно, пошел я. Спок нок!

Ярышников резко свернул влево и зашагал туда, где светились красные огоньки на верхушках копров и восходил багровый диск луны.

Чтоб избавиться от неприятного осадка, оставшегося после разговора с Андреем, я решил еще немного пройтись. В небольшой каштановой аллее, по которой я побрел, было тихо до звона в ушах, лишь иногда с гулом проносились мимо майские жуки.

Когда я пришел до конца аллеи, то услышал позади легкое цоканье каблучков, похожее на перестук пинг-понга. Я остановился, и цоканье тут же смолкло. Я пошел быстрее, чтобы не пугать случайную прохожую, но когда приблизился к фонарю, сзади раздался женский голос:

— Сергей Владимирович!

Я обернулся и увидел, как из темноты аллеи возникает, материализуется фигура девушки, с которой мы осенью вместе добирались на попутке.

— А я иду и дрожу, — сказала она громко и радостно. — Говорят, в этих краях маньяк объявился...

— Как там ваши старички? — спросил я, когда мы зашагали рядом.

— Ой, лучше не спрашивайте!.. Недавно привезли бабушку. Уже почти неделя прошла, а она все никак не может привыкнуть. Сидит у окна и плачет. Я ей говорю: «Вы радуйтесь жизни! Смотрите, какая весна, как все цветет!» А она мне: «Ой, Светик, нет сил радоваться. Выжита моя жизнь». Так и сказала — выжита. Будто выжата. Как лимон.

— Что ж вы, Света, так поздно? — спросил я. — Опять в городе были?

— Да нет, у знакомой засиделась. У меня завтра выходной.

— Дивный какой вечер, — сказал я.

— Да, замечательно! В этом году все сразу зацвело — яблони, вишни, сирень...

А я, кстати, вас вчера видела. Из окна больницы.

Мы миновали школу и вышли на детскую площадку, посередине которой стояла карусель с подвешенными на цепях деревянными сиденьями. Светлана усе­лась на одно из этих кресел и откинула голову назад, отчего ее густые волосы рассыпались водопадом по спинке сиденья. Она принялась мерно раскачиваться, отчего раздался скрип цепей, походивший на далекий крик чайки.

— Наверное, мои ученики, — сказал я, увидев вдаль две темные фигуры. — Давайте отойдем в сторонку, чтобы их не смущать.

— А я тут знаю одно интересное место. Хотите покажу? — живо откликнулась Светлана и, соскочив с карусели, повела меня вправо.

Место, куда мы пришли, было мне знакомо, но ночью оно выглядело непривычно и странно — я не сразу узнал в темном силуэте, походившем на развалины замка, бывшую водокачку.

В самом ее верху, на искривленных прутьях арматуры, неподвижно сидели две вороны.

— Яко ночный вран на нырищи, — сказал я.

— Что?

— Так наши предки называли руины — нырище.

— А я подумала, вы имеете в виду бак, — засмеялась Светлана. — В него летом действительно пацаны ныряют.

Она поднялась по железным прутьям лесенки и склонилась над огромным баком. Я тоже поднялся и стал рядом. Бак почти доверху был заполнен водой, и на ее гладкой поверхности плавал диск луны. Светлана опустила руку и ловко схватила лягушонка, сидевшего на ржавом карнизике.

— Ах ты мой масенький! — сказала она, разглядывая его с умилением. — Какие ж они беззащитные! И обижают их все, кому не лень.

— Говорят, от лягушек бородавки бывают.

— Глупости! В деревне их даже в молоко кладут, чтобы не скисло, — ответила Светлана и, помолчав, добавила: — А вы знаете, что лягушки — ровесники динозавров?

Пальцы ее медленно раскрылись, распустились, как лепестки лотоса. Лягушонок скакнул в воду и расколол луну на тысячу бликов.

— Прямо как в японском хокку, — сказал я. —

Прыгнула квакша.
Разбилась тарелка луны.
Склеит ее покой.

Светлана вновь засмеялась и повернула лицо ко мне. Ее серые широко расставленные глаза в свете луны выглядели темно-зелеными. Я поцеловал ее, и она ответила с готовностью.

— Я знала, что мы встретимся, — забормотала она, прижимаясь лбом к моему плечу. — Я сразу это поняла.

Я спустился на землю и протянул ей руки. Она спрыгнула в мои объятия, и мы замерли, прижавшись к друг другу тесно, будто спасались от холода.

— Надо возвращаться, — прошептала Светлана, отстраняясь. — У меня вредная хозяйка. Не любит, когда я прихожу поздно...

Мы вернулись на шоссе и побрели в сторону поселка. От освещенных луной верб, казалось, исходит мягкое сизое сияние.

Где-то совсем близко в кустах запел, защелкал объемно соловей.

— Я где-то читала, что трели соловья — вовсе не любовный призыв, — сказала Светлана. — Просто в этот период самки высиживают яйца, и, чтобы подруга не заснула в гнезде, соловей будит ее своими трелями.

— Какая сегодня большая луна, — сказал я. — Все ее «моря» и «заливы» как на ладони. Вон то темное пятно, что по центру, — это Море ярности, а та клякса, что чуть правей, — Залив любви...

— Откуда ты это знаешь? — Светлана незаметно перешла на «ты».

— Увидел в детстве картинку в энциклопедии и запомнил.

— А я не люблю, когда полная луна, — призналась Светлана. — Как-то смутно делается.

Трели соловья вновь зазвучали громко, призывно, и не верилось, что он поет не о любви...

9

Спустя три дня мы, созвонившись, договорились о встрече у интерната.

Походив минут десять около «дворца», я позвонил Светлане по мобильнику, но ответа не последовало. Я подождал еще немного и, вновь услышав в телефоне долгие гудки, вошел внутрь здания.

В коридоре было пусто, лишь в конце его удалось разглядеть согбенную старушку — она тихонько передвигалась, опираясь на высокий деревянный табурет. Я спросил ее, где можно найти медсестру Свету, и старушка радостно закивала головой, будто довольна была уже тем, что с нею заговорили.

— Света хорошая, дай ей Бог здоровья, — произнесла она негромко. — Добрая девушка.

— Так где она?

Старушка оперлась одной рукой о табурет, а другой, дрожащей, молча указала в мою сторону.

Я развернулся и пошел, поглядывая на двери, в надежде прочесть какую-нибудь надпись, но везде были прикреплены лишь овальные эмалированные бирки с номерами комнат. «Наверное, такие же номерки прикрепляют здесь к крестам на могилах», — подумалось мне.

Пройдя до конца коридора, я развернулся с досадой и пошел назад. И тут же за одной из дверей услышал Светин голос. Я постучал негромко и приоткрыл дверь.

Светлана стояла у окна рядом с благообразным старичком. Глаза у старика были светло-голубыми, будто выцветшими от времени.

— Это Сережа, — представила меня Света. — Мой хороший знакомый. А это Федор Вонифатьевич.

И продолжила без паузы:

— Знаешь, о чем мы разговаривали? О цветах. — Она взяла в руки маленький горшок с цветущей фиалкой. — Федор Вонифатьевич рассказал, что у древних греков фиалка означала печаль и смерть. Ее даже на могилах сажали. А в России в древности цветком смерти считался василек...

«Темка — что надо для этого заведения», — подумал я и вежливо покачал головой.

— Почти все наши цветы — пришельцы, — тихо, но отчетливо произнес старик, обращаясь ко мне. — Тюльпаны — из Голландии, хризантемы — из Японии. Гвоздика прибыла к нам из Туниса. Правда, через Францию. А в Древнем Риме, вы, наверное, знаете, был культ розы. На пирях все сидели в венках из роз. Без колючек, конечно. Поэтому, чтобы поиздеваться над Христом, и надели ему на голову венок с шипами.

Старик помолчал, пожевал губами и, посмотрев на подоконник, сказал:

— У меня тут много было цветов. Но все вымерзли. В январе несколько дней не работало отопление. Все цветы и погибли. Только вот фиалка чудом выжила...

— Я вам принесу цветы, — сказала Света. — У нас их в больнице много.

— Спасибо, милая, — ответил старик и, промокнув платком слезящиеся глаза, обратился ко мне. — Она и сама здесь как цветок. Простите уж за банальность. Да, как яркий цветок среди одуванчиков. Это ужасно, когда вокруг лишь старые, увядшие лица. Ужасно и неестественно... Ну, не буду вас больше задерживать, — прервал он сам себя. — Молодой человек, наверное, думает: когда ж, наконец, уймется этот старый болтун?

Старик засмеялся коротким, похожим на кашель смехом и осторожно поправил на тумбочке рамку с фотографией, на которой был изображен парень в военной форме.

— Сереж, — сказала Светлана, — а нельзя сделать так, чтобы эту фотографию можно было повесить на стену?

— Конечно. Только надо ее взять с собой.

— Это мой сын, — произнес старик тихо и тревожно.

— Не беспокойтесь, Федор Вонифатьевич, — сказала Света. — Я в субботу ее принесу. Отдыхайте! А где ваш сосед?

— Телевизор смотрит. Прямо информационный наркоман. Все смотрит, все слушает, все читает. А я никогда не любил политику...

— Сделай, пожалуйста, побыстрее, — сказала Светлана, когда мы вышли в коридор. — Это его сын. Он был пограничником. И там, на границе, погиб. Ребята, что служили с ним, привезли отцу его служебную собаку. Когда овчарка совсем одряхла, он чуть ли не на руках выносил ее на улицу погулять. А как она умерла, ушел в интернат. Из родных у него никого не осталось...

И вдруг, поменяв интонацию, спросила весело:

— А хочешь, я покажу тебе дворец?

Она подвела меня к массивной двери в конце коридора, слегка приоткрыла ее, и в дверном проеме показалась большой полукруглый зал. Наверное, когда-то здесь устраивались балы, кружились пары, лакеи разносили шампанское, а наверху, на антресолях, играл оркестр.

— Посмотри на пол, — тихо сказала Светлана. — Он инкрустированный, с цветочным орнаментом. Когда его протирают влажной тряпкой, он сияет, как новенький.

Как я ни пытался что-то разглядеть, так ничего и не увидел, потому что на паркете стояли ряды деревянных кресел, как в старых кинотеатрах. На первых двух

рядом сидели старички и старушки и смотрели телевизор, стоявший на высокой тумбе, будто скульптурный бюст на постаменте.

На экране появился импозантный диктор и поздоровался с телезрителями.

— Здравсьте, — недружно прошелестели в ответ старички.

Светлана закрыла дверь и повела меня на второй этаж по мраморной лестнице.

На площадке между вторым и третьим этажами висела большая багетовая рама с остатками позолоты на красивом резном узоре. В раму был вставлен написанный краской Ленин, стоящий на брусчатке Кремля.

— Говорят, в этой раме было венецианское зеркало, — сказала Светлана. — Но оно разбилось. Не знаю уж, правда или нет, мне рассказали такую историю. После войны тут был детдом. И однажды ребята затащили сюда козу и спрятали на чердаке, чтоб никто не увидел. Кормили, чем могли, игрались с ней и потихоньку питались ее молоком. Но как-то раз во дворец забрался козел. Наверное, услышал бляенье козы. Рванул наверх, но, увидев в зеркале свое отражение, остановился. Подумал, что это его соперник, и боднул стекло со всей силы... А Ленина один из старичков нарисовал. Правда, есть и те, кто против этого портрета...

На втором этаже, как и на первом, было пусто. Только у лестничной ограды стояла в задумчивости старушка в белом платке.

— Пора помирать, — будто оправдываясь, сказала она. — Уж лет-то сколько! Сама позабыла, сколько мне годков, дни рожденья давно не отмечаю... А помирать вот не хочется. Почему-то не хочется...

Старушка еще поудивлялась тому, что ей не хочется помирать, и исчезла, будто растворилась, за белой дверью без номерка.

— А там что? — спросил я.

— Кладовка. С вещами, что приготовили жильцы.

— Какими вещами?

— Ну, это последние одежды, в которые их оденут. Ведь они все кончают свои дни здесь, поэтому сами готовят все к своему последнему дню... А на чердаке лежат гробы. Сейчас все дорожает, вот директор и закупил их, чтобы сэкономить.

— Господи!

— Да, все это ужасно. Но такая тут жизнь...

Я взял Светлану за руку и повел к выходу.

— Как ты тут можешь работать? — сказал я, когда мы оказались на улице.

— Не знаю, как это тебе объяснить... — помолчав, сказала она. — Да, здесь тяжело и грустно. И в то же время легко. Потому что я нужна им. — И, взяв меня за руку, опять сказала весело: — А хочешь, я покажу тебе яблоневый сад? Тут совсем рядом...

Сад возник неожиданно — будто поднялся вдруг театральный занавес, открыв взору живописную декорацию. Это впечатление усиливало вечернее небо с догорающим закатом, на котором уже появилась бледноватая, белесая луна. В свете доглевающего дня сад мерцал, вибрировал мириадами нежных лепестков, издающих обволакивающий, дурмящий запах.

— Это бывший барский сад, — пояснила Светлана. — За ним давно уже никто не ухаживает, и он одичал. Но по-прежнему цветет и плодоносит. Я видела, как осенью сюда приезжали солдаты и собирали яблоки. Наверное, на компот...

Она хотела пройти вглубь сада, но высокая трава была мокрой от прошедшего накануне дождя, и Светлана остановилась в нерешительности.

— Правда, хорошо здесь? — Она мягко прижалась ко мне, наверное, ощущая благодарность за то, что я чувствую этот сад так же, как она.

— Мы тут с тобой совсем одни, — прошептала она еле слышно. — Как Адам и Ева.

— Да, — так же тихо отозвался я на ее слова. Невозможно было представить, чтобы здесь раздался крик или громкий смех.

И мы оба смолкли, слушая теплую тишину.

— Боже, как хорошо жить! — сказала с чувством Светлана, повернувшись ко мне, и обняла мою шею обнаженными руками. — Зачем люди без конца мучают и обижают друг друга?

Она застыла, прижавшись ко мне всем телом, и мне показалось вдруг, что все это уже однажды было со мной — и эта весенняя ночь, дурманящая запахом цветущих яблонь, и слова о людях, не желающих понять, что сама жизнь — это и есть счастье...

Через неделю я перебрался в пятиэтажку, а Света переехала от своей прежней хозяйки к Шуре.

10

При первой же возможности я выбрался в Н-ск, чтобы приобрести инструмент и всякие хозяйственные мелочи. Вернувшись на автовокзал, я купил билет и, присев на скамейку, расслабленно замер, подставив лицо теплым лучам солнца.

Где-то неподалеку громко зазвучала музыка. Я обернулся и увидел мужчину с валторной в руках. Отыграв первый такт, музыкант откашлялся и вновь припал губами к инструменту. Над площадью поплыла, как легкое облако, грустная, щемящая мелодия.

— Цветочков не надо? — спросила меня стоявшая неподалеку женщина.

Из ее ведерца, будто мальчишечьи головы из-за забора, выглядывали бутончики тюльпанов. Я купил семь тюльпанов разных цветов и завернул их в газету.

— Он почти каждый день сюда приходит, — сказала женщина, кивнув головой в сторону музыканта. — Говорят, отсюда уехала девушка, которую он любил. Уехала и не вернулась. Может быть, погибла. Сейчас столько народу исчезает. И он почти каждый день приходит сюда и играет...

Грустное чувство, рожденное звуками валторны, не покидало меня всю дорогу. Я смотрел в окно, за которым проносились тополя, размазывая и дробя зелень полей, и думал о том, как все быстро проходит, исчезает, как этот пейзаж за окном.

Вошедший на очередной остановке щуплый мужичонка лет тридцати присел рядом со мной и сказал:

— А я до жены еду. Она у меня хорошая. Правда, грит, я надоел ей как горькая редька. Смешно, правда? Будто редька, грит, надоел...

Я покивал для приличия головой. Восприняв мой жест как приглашение к беседе, сосед продолжил:

— Если у женщины не все в порядке с головой, то ей надо ребеночка родить, и тогда все пройдет... И ребеночек нормальный будет...

Он помолчал недолго и вновь заговорил:

— ...Она мне грит: надо, грит, полгода вместе поспать. И тогда ребеночек будет...

Так и продолжалось всю дорогу — он то затихал на время, будто обдумывал, что еще сказать, а потом произносил очередную фразу:

— А ребеночек может быть, даже если и один раз всего поспать вместе... А знаете, как узнать, ждет она ребеночка или нет? Надо ей дать покушать яблочка... Если ее будет пучить, значит, ждет... А вы знаете, что яблоки можно есть только после первого августа?..

Я рассеянно слушал попутчика и думал о том, что постоянную радость и удивление, наверное, способны ощущать лишь дети и такие, как этот попутчик, — или как наш деревенский Юшка Блаженный.

По крыше автобуса будто град забарабанил: это с транспортера, подвешенного над дорогой, сквозь натянутую под ним сетку срывались и падали вниз мелкие кусочки угля. Для меня же это было знаком, что следующая остановка — моя.

Выбравшись из автобуса, я решил сократить путь и пошел напрямик, через поле.

Вечер между тем на глазах превращался в ночь: небо поблекло и потемнело, поднявшийся ветер окончательно разогнал тучи, и на синем своде засветились кристаллики первых, самых ярких звезд.

Луна еще не появилась, и идти в полумраке по полю, вторая половина которого оказалась недавно распаханной, было неудобно и неприятно — впотьмах я то и дело наткался на очередную огромную кочку или попадал ногой в глубокую рытвину.

Отчаявшись, я уже хотел было вернуться назад, на шоссе, как вдруг впереди показались огни поселка. И в этот же миг из-под ног вырвалось вдруг что-то большое, бесформенное и с фыркающим звуком быстро унеслось вдаль — вероятно, это был поднятый ветром полиэтиленовый пакет. Мне припомнился Шурин рассказ о подорвавшемся здесь поросенке, и, чтобы оправиться от внезапного испуга, я рванул вперед. Выкрикивая что-то, сбежал с косогора к знакомой железно-дорожной насыпи.

Я открыл тихонько калитку, но Кайдар сразу узнал, учуял меня и приветно поскулил. Света на веранде не было: значит, Шура где-то задержалась. Обогнув дом, я приблизился к выходившему в сад окну кухни и, разглядев за занавеской силуэт Светланы, загудел, изображая приведение:

— У-у-у!

Светлана вздрогнула, будто увидела нечто ужасное, вскочила из-за стола и бросилась в Шурину комнату.

— Света, не бойся! — закричал я, барабанил пальцами по оконному стеклу. — Не бойся, это я!

Но она не спешила появиться вновь — возможно, просто не слышала меня. Тогда, сложив ладони рупором и приставив их к стеклу, я прокричал:

— Света, это я!..

После этого она вновь появилась на кухне и направилась к входной двери. Я вернулся к крыльцу и услышал, как отодвигается шумно железный засов, на который ни я, ни Шура никогда не запирали дверь.

— Неужели я так напугал тебя? — спросил я, входя. — Извини, ради бога! Дурацкая шутка.

Она ничего не ответила и, развернувшись, быстро пошла в дом.

Вспомнив про тюльпаны, я запустил руку в сумку и вынул цветы.

— Смешно, — сказал я. — Из города цветы возить приходится... А еще я взял хорошего вина. Так что отметим, наконец, твое новоселье... Ну, как тут тебе?

Светлана пожала неопределенно плечами и принялась ставить на стол тарелки. Я прошел в «залу» и включил телевизор. Появившаяся на экране женщина с рыжеватыми волосами заговорила гулким, как из бочки, голосом:

— Душа наша проходит много жизней и много смертей и с каждым разом становится все совершенней. Вот говорят: у этого есть талант, а у этого — нет... Но талант, способности — это просто повзрослевшая душа. Набираясь с каждым разом нового опыта, душа становится все более тонкой и проницательной... Бандиты, насильники, да и просто грубые и примитивные люди — это всего лишь молодые души, они еще совсем недавно родились...

Из кухни раздался голос Светланы:

— У наших девочек в больнице есть таблицы, по которым можно вычислить, кем ты был в прошлой жизни.

— И кем же ты была? — спросил я.

— Я уже появлялась на земле дважды. Один раз в Древнем Египте. Была там в свите царицы. Другой раз — во Франции в восемнадцатом веке... А ты веришь в это?

— Нет, конечно. Все в этом мире бывает лишь однажды... А такие передачи — средневековое мракобесие. Ну, такие теперь времена.

— Наверное, мы готовы верить в эти теории потому, что знаем, что рано или поздно умрем. А так хочется, чтобы твоя жизнь как-то продолжилась...

— А где тетя Шура? — спросил я, перейдя на кухню. — В поисках очередного жениха?

— Нет, она у матери, она сильно хворает. Шура теперь почти все время у нее... Весной люди чаще болеют и умирают. Помнишь Федора Вонифатьевича? Того, которому ты рамку чинил?

— Да, конечно.

— Вчера его схоронили... Я на его могилке посадила фиалки...

Мы помянули Федора Вонифатьевича и перешли пить кофе в «залу».

Светлана не стала включать свет, и комнату освещал лишь телевизор с мельтешицами на экране фигурами, отчего по потолку металась тень от люстры, напоминавшая большое суелливое насекомое.

— Почему ты так испугалась? — спросил я, укладывая ладонь Светланы в свои ладони.

Она ничего не ответила, продолжая немигающим взглядом смотреть на экран. Я склонился к ее коленям и стал целовать ее руку. И вдруг почувствовал, как мне на шею упали и щекотно скатились за воротник две капли.

— Светик, что с тобой? — спросил я, подняв голову.

Она разрыдалась вдруг громко, по-детски всхлипывая и прикрывая лицо руками.

— Ты бы знал... Если б ты знал, что здесь только что было!.. — сбивчиво заговорила она. — Я такого страху натерпелась!.. Перед твоим приходом тут трое пьяных... Они ломались в дом, выкрикивали гадости, колотили в окна, в двери...

— Ты их знаешь?

— Нет. Они требовали, чтобы я им открыла, говорили, что вышибут двери. Слава Богу, в это время кто-то шел мимо и их спугнул... А потом ты постучал... Когда я глянула в окно, мне показалось, что из темноты на меня надвигаются два красных глаза...

— Милая, хорошая, прости меня, — забормотал я, целуя ее мокрые от слез глаза и щеки.

Она ослабела от жалости к себе, откинула голову назад, на упругую спинку дивана, и ловила мои губы приоткрытым влажным ртом.

...Потом мы долго лежали молча: я — глядя в потолок, по которому продолжала метаться тень от люстры, Светлана — прижавшись щекой к моей груди.

— О чем ты думаешь? — задала она традиционный женский вопрос.

Я думал о том, что, возможно, страх, который мы совсем недавно испытали — она тут, в этом доме, а я чуть раньше, в пронизанном гудящим ветром поле, — ускорила наше сближение.

— Смотри, в окне виден молодой месяц, — сказал я. — Как ятаган. А помнишь, как мы гуляли с тобой при полной луне?

— Да. И ты показывал мне Море ясности, Залив любви...

— Видишь, у нас с тобой уже есть воспоминания...

Мы вновь замолчали, слушая, как бушует за окном ветер.

— А ты знаешь, что слово «луна» древние римляне произносили точно так же, как мы, — сказал я, чтобы прервать молчание. — Представляешь, они так же, как мы, две тысячи лет назад смотрели на небо и произносили: лу-на.

— Откуда ты это знаешь?

— Учил когда-то латынь... И удивлялся, что у нас есть слова, которые звучат как у римлян: дом, баня, око, воля, узы, сон, овца, балбес... Может быть, это этрусски принесли нам какие-то свои слова? Они как-то внезапно и вдруг исчезли с полуострова. А куда они могли уйти? Только на север. Так что, возможно, мы — далекие потомки этрусков.

— Как мне хорошо с тобой, — сонно пробормотала Светлана. — Оставайся сегодня у меня.

— Да нет, Светик, я пойду. Это же деревня, тут все все видят, все знают...

Прежде чем расстаться, мы еще посидели на кухне, попили чаю с халвой и козинаками.

— Это мне отец прислал, — сказала Света. — Знает, что я люблю козинаки...

— Мама умерла год назад, — продолжила она, помолчав. — У нее рак был... И с тех пор отец начал пить. Когда к нему приезжаю, он еще держится. А потом опять... И главное — пьет, что попало... Я стараюсь почаще бывать у него. Но не всегда получается... А мама у меня очень красивая была...

Она погрустнела, смолкала и стала смотреть в окно, в темноту ночи. Но долго грустить она не умела.

— А давай с тобой поедем куда-нибудь в эти выходные? — предложила она. — Я знаю тут одно хорошее местечко.

— Давай, — согласился я.

— А правда, что пансионат для пожилых собираются переводить куда-то поближе к городу? — спросила Светлана. — И что там будет, школа?

— Да, уже все решено. Даже выделили деньги на ремонт.

— И ты станешь там директором.

— Ну, не знаю. Может, лет через десять. Представляешь, как там красиво будет, если все восстановить! Разобьем сад, посадим цветы...

— Завидую тебе. Хорошо, когда у человека есть цель. А я не знаю, что я хочу. Наверное, поступить в институт, стать врачом...

— Так это же прекрасно! Потом вернешься сюда, и мы...

Светлана не дала мне договорить. Нежно приложила свои пальцы к моим губам и, присев ко мне на колени, тесно прижалась головой к моей груди.

— Мне так хорошо с тобой, — забормотала она. — Я знала, что у нас с тобой это случится...

Я ушел уже под утро. Ветер окончательно разогнал облака и, утомившись от собственной свирепости, унялся, затих. Черное небо все было усыпано блесками звезд, а над красными огнями терриконов появился молодой месяц.

Спать совсем не хотелось. Вдыхая пропитанный ароматом цветущих трав воздух, я вышел на проселочную дорогу и направился в сторону бывшего барского сада.

Предутренний полумрак слил в единую рыхлую массу кроны больших развесистых верб, приютившихся на холме, отчего они походили на зыбкий силуэт застывшего неведомого животного. Округлые кусты шиповника, маячившие неподалеку от верб, тоже напоминали странных существ, замерших при неожиданном появлении человека.

В низинке земля и травы были подернуты белесой паутиной испарений, и казалось, что этот стелящейся над землей туман и приглушил все звуки. Лишь какая-то невидимая птаха вплетала в предутреннюю тишину свой тонкий голос, без конца повторяя: фить-фить-фифить. Далеко, в деревне сонно проголосил петух, и, буд-то по его сигналу, над землей пронесся легкий прохладный ветерок. Начинался тот таинственный предрассветный миг, когда все живое в природе, даже то, что еще недавно пело и стрекотало, замирает на время, предавшись полному сну и покою.

Сад, в который я вошел, уже отцветал, утрачивая свою пенную пышность. Лишь кое-где белые лепестки тускло фосфоресцировали, разливая в воздухе нежный, печальный аромат. Мне показалось вдруг, что откуда-то из-под земли исходят странные, похожие на шепот звуки. Я присел и увидел лежащих на траве белых бабочек, которых вначале принял за опавшие лепестки яблонь. Бабочки без конца поднимали и опускали свои крылья, будто прощались с уходящей весной.

«Вот он, шелест весны», — подумал я, слушая исходящий от земли таинственный звук, создаваемый однодневками. Подняв одну из бабочек, я усадил ее на ладонь, и она ожила, зашевелилась, будто собираясь взлететь, но дойдя до края ладони, бессильно свалилась на землю.

Почувствовав охватившую меня сонливость, я вышел из сада и побрел навстречу светлеющему горизонту.

11

На следующий день Павел Николаевич повез меня во «дворец», чтобы познакомиться с директором интерната.

Автомобиль, который любезно выделил нам для поездки начальник шахты Волобуев, оказался выдавшей вида черной «Волгой». Ее водитель Иван Терентьевич был под стать раритету — пожилой, не улыбающийся, одетый в черный строгий костюм. Машину Терентич вел так, будто боялся, что она вот-вот развалится: осторожно объезжал рытвины и выбоины, а когда приблизились к одноколейке, остановил машину метров за тридцать от рельсов и, прежде чем двинуться дальше, долго и пристально, как пограничник с плаката, вглядывался то в одну, то в другую стороны.

У въезда на территорию интерната на глаза нам попала странная картина: десяток псов, злобно щеря зубы и бешено лая, подпрыгивали вверх, извиваясь всем телом, будто лапы их жгли раскаленным железом. Причиной странного их поведения были четверо ребятишек — взобравшись на остатки кирпичного строения, они швыряли оттуда в животных камнями и тыкали их длинными палками.

— Жестокий народ ребятишки, — сказал Терентич и несколько раз посигналил, после чего пацаны прекратили свою жестокую забаву. — Особенно сельские. Птенцов из гнезд выкидывают, кошек-собак мучают...

А когда подъехали к дверям интерната, добавил:

— Не люблю это место. Юдоль печали. Будь моя воля, соединил бы вместе брошенных стариков, оставленных детей и бездомных собак. И, наверное, всем вместе было бы хорошо...

Когда мы с Куреповым добрались до кабинета директора, Павел Николаевич попросил меня подождать пару минут и скрылся за обитой дерматином дверью.

Приняв меня, очевидно, за сотрудника интерната, ко мне приблизилась старушка в длинном плаще и черных ботах и тихо спросила:

— Вы не скажите, какой адрес у этого учреждения?

Я отрицательно помотал головой, и старушка обратилась к идущему по коридору пожилому мужчине:

— Не подскажете, как мне добраться до почты? Я тут первый день.

Старик в ответ поднял вверх обе руки и произнес, отчетливо артикулируя:

— Вы, любезнейшая, напрасно тратите время. Я ни черта не слышу — оставил в комнате слуховой аппарат.

— Что вы сказали? — спросила старушка. — Повторите громче!

Я хотел им помочь, но тут дверь кабинета приоткрылась, и в ее проеме появилась рука поманившего меня Павла Николаевича.

Я вошел в кабинет и увидел сидевшего напротив Курепова пожилого человека с рыхлой массивной фигурой.

— Знакомьтесь, Степан Василич, — сказал Павел Николаевич. — Это наш молодой специалист Сергей Владимирович. Будет мне помогать во время, так сказать, переходного периода.

— Сумеете ли освоить такое здание? — отозвался директор богадельни неожиданно тонким для его массивного тела голосом.

— Освоим, освоим. Деньги выделяют, шахта обещала помочь. Ты ж знаешь — сейчас малокомплектные школы закрывают и к нам переводят. Так что область тоже поможет.

— Про укрупнение я слышал. Мы вот тоже — жертва укрупнения, — чувствовалось, что перспектива переезда интерната директора мало радует.

— В общем, хотелось бы, чтобы тут сохранилось все в целости, — продолжал Павел Николаевич. — Ты же знаешь нашу публику. Все, что плохо лежит, мигом прихватизируют.

— Да, — печально кивая головой, согласился Степан Васильевич и, помолчав, сказал: — Есть предложение. Как говорится, на больной зуб.

— Днем? На работе? — с притворным возмущением отозвался Павел Николаевич.

— Сто грамм никому еще не вредили, — будто отзвываясь на пароль произнес Степан Васильевич. Приоткрыл дверцу большого холодильника и извлек оттуда колбу, наполненную прозрачной жидкостью.

— Как всегда, ректификат? — с мрачной брезгливостью спросил Павел Николаевич.

— Ну?! Чистейший, медицинский, — пропел Степан Васильевич.

— Ладно, — нехотя согласился Павел Николаевич — Только по чутьку.

Степан Васильевич запер дверь на ключ и, разбавив спирт водой из электрического чайника, наполнил этой жидкостью три ликерные, с вытянутыми талиями рюмки.

— Убери к черту свои отвертки! — закапризничал Павел Николаевич. — Дай нормальные стаканы!

Степан Васильевич послушно сменил рюмки на стаканы, достал немудреную закуску и произнес со значением:

— Быть добру!

Мы с Николаичем выпили залпом слегка отдающий резиной спирт, директор интерната лишь слегка пригубил свой стакан и, постучав себя пальцами по груди, пояснил:

— Сердце.

— Хорошо у тебя тут. Спокойно, — откинувшись на спинку стула, сказал Павел Николаевич. — Не то что в школе, где черт ногу сломит. Клиент тихий, невредный...

— Да как сказать, — не согласился Степан Васильевич. — Вот недавно был случай. Один наш жилец вдруг исчез. Тихий такой мужичонка. Правда, со странностями. Стихи писал, песни пел... И вдруг исчез. А поближе к зиме милиция обнаружила его труп, не за столом будь сказано. Ознать, кто такой, уже было невозможно, но в кармане нашли записную книжку с его именем и его стихами... В общем, похоронили мы его тут, на кладбище. Приезжала его сестра, поминки справила. Все, как говорится, чин чинарем. И вдруг...

Степан Васильевич помолчал, интригуя нас, сгрыз редиску и, плеснув в стаканы новую порцию жидкости, продолжил:

— И вдруг по весне этот поэт является к ней. Живехонький-здоровехонький. Сестра к нам с претензией: верните, мол, деньги, я на дорогу потратилась, на поминки и прочая... А ты говоришь — тишь да гладь. Ну что, еще по чутьку?

— Слушай, Василий, давай лучше выберемся из твоей богадельни, — сказал Павел Николаевич. — Больно дух здесь тяжелый.

Василич тотчас согласился, и я понял, что это было оговорено ими заранее...

Через полчаса наша «Волга» остановилась у густо заросшего кустарником овражка на берегу речушки. Курепов раскинул на траве широкий полиэтиленовый лист («скатерть-самобранку», как он выразился), поставил на него бутылку водки, разложил хлеб, колбасу и овощи.

Иван Терентьевич выказал желание съездить ненадолго по своим делам, но Степан Васильевич остановил его:

— Ты уж погоди чуток, голуба. У меня микроинфаркт в январе был. С тех пор я фактически ни-ни. Сегодня, можно сказать, дебют, проба пера. Ты уж постой, золотко, на стреме. Ежели что — успеешь до больницы свезти.

— Ерунда, — оборвал его Павел Николаевич. — У меня три года назад инфаркт был. И не микро, а самый настоящий. И мой врач даже рекомендовал принимать понемногу. Но только спирт или водочку. Езжай, Терентич, куда тебе надо!..

— Ну и машинку тебе дал Волобуев, — усмехнулся Степан Васильевич, глядя вслед «Волге», за которой потянулся шлейф пыли. — Сам-то на БМВ гоняет. И сынку «ауди» купил.

— Что поделаешь? — вздохнул Павел Николаевич. — Такие времена... Волобуев хоть школе помогает. У нас его внук учится.

— Кстати, с этим Волобуевым однажды смешная история вышла, — похрустывая огурцом, сказал директор интерната. — Это были уже в конце восьмидесятых. Он тогда работал в райкоме комсомола, а я был комсомольским вожаком в колхозе, тут неподалеку... И вот веду я как-то собрание, и вдруг в зале появляется этот Волобуев. Он собирался к нам, но мы его уже не ждали, потому как была жуткая распутица. Я как увидел, что он входит, встал и говорю: «Товарищи, на нашем собрании присутствует представитель райкома товарищ Волобуев! Прошу почтить его память вставанием!» И все дружно встали. Не, ты представляешь эту картинку?..

Степан Васильевич засмеялся тонким голосом, отчего большая птица выпорхнула из травы и быстро унеслась вдаль.

Мы выпили за хорошую погоду и замолчали, наслаждаясь теплом, солнцем и тишиной, нарушаемой журчанием речушки.

После третьего тоста я отошел в сторону, поближе к ручью, и прилег на траву.

— Эй, эй! Тебе плохо? — услышал я сквозь дрему голос Павла Николаевича и, оглянувшись, увидел, что он трясет за плечо прислонившегося к дереву Степана Васильевича.

— Что? Что такое? — открыв глаза, заполошно забормотал тот.

— Тебе что — плохо?

— Да нет, просто в сон потянуло.

— Сереж, пойд-ка погуляй! — обратился ко мне Курепов. — Нам со Степаном Василичем пошептаться надо.

Я спустился вниз, к речушке, присел на бревно и уставился на солнечные блики, сверкающие в струях воды.

Вскоре раздался шум машины — это вернулся на своей «Волге» Иван Терентьевич.

— Ниче вроде, сердчишко стучит, — сказал ему директор интерната. — Значит, еще поживем... И ты б выпил маленько. Сто грамм никому еще не вредили.

— Не, — отвечал Терентич, не выходя из машины. — И не уговаривайте!

— Тут ехать-то с гулькин нос, — продолжал совращать его Степан Васильевич. — Да и гаишников я всех знаю...

— Не тратьте слов попусту, — отрезал Иван Терентьевич. — Ни разу в жизни правил не нарушал. А уж теперь подавно не стану.

— Ладно, мужики, погнали, — сказал Курепов. Поднялся тяжело и направился к «Волге»...

Когда мы, добравшись до школы, вышли из машины, директор дал мне знак следовать за ним.

В здании было непривычно тихо. Мы вошли в директорский кабинет, и Курепов, достав из сейфа бутылку коньяка и два бокала, сказал устало:

— Степан Василич еще та устрица. Боюсь, распродаст все к черту по-тихому. Паркет, решетка, мрамор. Нынешние богатеи это любят. Я тебя поэтому с ним и познакомил. Теперь ты вроде как представитель школы. Наведывайся туда при случае.

Он налил коньяк в бокалы и, выпив залпом, продолжил:

— Вроде хороший у нас народ, душевный... Но жить по закону — это вроде как не для нас. На Западе-то народ приучили всего бояться, следить друг за другом, поэтому там порядок...

Как всякому русскому человеку после приятия спиртного, ему хотелось поговорить.

— Вот ты как историк скажи мне, — продолжал Курепов, — сколько лет существовала инквизиция?

— Ну, началось это где-то в тринадцатом веке...

— А закончилось?

— Официально — в начале девятнадцатого.

— Вот! Если даже взять только время, когда она была сильна, — это уже три века!.. Вот потому они такие законопослушные... Не помню уж у кого из писателей прочел мысль, чем мы, русские, отличаемся от европейцев. И тем, писал он, что европейцев останавливает сознание, а нас — жандарм. Ну, я думаю, не сознание их останавливает, а страх, к чему приучила их инквизиция. А у нас как объявили тридцать лет назад, что разрешено все, что не запрещено, сразу понеслось — хватай, что можешь, гуляй, как хочешь! К тому же мы страсть как любим всяких грешников. Ведь грех — это интересно, а жить праведно — скучно. О Кудеяре-разбойнике на Руси даже песни слагали. Он, грешник, видите ли, покаялся... А родным тех, кого он замучил, от этого легче?..

— Вашего сына убили? — спросил я.

Павел Николаевич поднял голову, посмотрел на меня мутным взглядом, покрутил пальцами свои лохматые брови.

— Юрка был похож на тебя. И сейчас ему было бы столько же, сколько тебе, — сказал он и снова налил коньяка. — В поганое время живем, смутное. И с образованием черт-те что. Я вот каждый год езжу в пединститут, уговариваю ребят работать у нас — и что?..

Монолог директора оборвал робкий стук в дверь, и в приоткрывшемся проеме показались очки Ермолаича.

— Привет, Коля! Чего тебе дома не сидится? — спросил Павел Николаевич, доставая из сейфа еще один бокал.

— А-а, — завхоз обреченно махнул.

— Ты б баньку как-нибудь затопил, да нас с Сергей Владимырьчем пригласил.

— Эт можно, — согласился Ермолаич.

— А помнишь, какую баню организовал нам Кочергин перед атакой на Минутке? — сказал Павел Николаевич, наполняя коньяком бокал.

— Мы с Николаем на Второй чеченской все время рядышком были, — пояснил он. — Кстати, Ермолаич меня сюда и сосватал. Он хоть на пятнадцать лет меня старше, мы там крепко с ним сдружились... Грех так говорить, но для меня это было самое хорошее время.

— Баньку помню. Конечно, помню, — отозвался Ермолаич. — Мы ж тогда вернулись на базу страшные, как черти. Грязные, замызганные, только зубы белели.

— Да-а... А потом еще сон до утра, — подхватил Курепов. — Мы-то спали тогда час-два в сутки.

— Николаич меня, можно сказать, с того света вытащил, — сказал завхоз, закусывая шоколадкой. — Ихний снайпер меня на площади словил. По ногам целил, сука, чтоб я не мог двигаться. И Курепов на своем БМП ко мне рванул... Не знаю уж как, но втащил меня внутрь. Когда вернулись и посмотрели — е-мое, на БМП этом живого места не осталось! Ни фар, ни подфарников — в общем, ни хрена. Даже башню заклинило — так нас огнем поливали...

— Ла, Ермолаич, за то, что выжили! За веру, надежду и любовь! И помянем тех, кого уже нет.

Ермолаич выпил до дна, покачал головой и, помолчав, добавил:

— Любовь, любовь... Есть ли она эта любовь? Вон наемни моя Илинишна говорит: «Сергея-то помер...» Я сперва не усек, о чем это она. А потом сообразил — это она про Серегу Костина. Вот это да, думаю. Это, значит, она все годы следила за им. Все тридцать лет. Знала, где живет, как живет... Она ж с им хороводилась тут, когда в девках ходила. Потом он в город подамшись, да так там и остался. Рута два всего сюда наезжал. А она, змеюка, выходит, все время его помнила... Помер, говорит, Сергея. И глаза свои платком утирает... А ведь всю жизнь со мной прожила. Выходит, я для ее все равно как чужой был. Помру, так небось и не заплачет...

— Ну что ты несешь?! — остановил его Курепов. — Лизавета тебя всегда любила и теперь наверняка любит. Вы уже так срослись, что ничем вас друг от друга не отдрать. Так что не дури!..

Я не стал мешать этим, как оказалось, старым приятелям, попрощался и направился домой.

12

Весна вовсю входит в свои права. Все вокруг дышит благостью и покоем. Теплый, ласкающий ветерок приносит ароматы цветущих яблонь и вишен, земля обильно покрыта желтым ковром одуванчиков, которые через день начинают превращаться в пух. На небе ни одной тучки, и рыхлый след, оставленный недавно пролетевшим самолетом, выглядит как царапина.

Выйдя из калитки, я услышал громко ругающий кого-то женский голос и, миновав два двора, увидел женщину, державшую за ухо тощего высокого парнишку.

Я сразу узнал его. Это был местный юродивый Юшка, безобидное, всем улыбающееся и со всеми здоровающееся существо. В цепких руках женщины Юшка чувствовал себя, как полоз в когтях беркута.

— Шо ж ты, малахтырь, натворил? Шо ж ты, ирод, наделал? — выкрикивала женщина. — Испоганил мне все тут, жук навозный, весь труд дневной искуверкал.

И, обратившись к собравшейся на ее вопли немногочисленной публике, пояснила:

— Целый день хату белила, а эта гада кромешная в момент работу спортила, измазюкала. Теперь обратно все сызнава!

Часть белоснежной, с легкой голубизной стены дома, на которую указывала женщина, была помечена черными отпечатками, походившими на следы, оставленные лапами гигантской птицы. Вероятно, Юшка мазал руки в ближайшей луже и прикладывал их к свежее побеленной саманной стене.

Парнишке удалось, наконец, вырваться из рук женщины. Он обессилено опустился на траву и закрутил головой из стороны в сторону, как будто проверял, цела ли его тонкая шея.

— Так же красиво... — бормтал он слезливо. — Так красиво...

— Красиво!.. У, халоумный! — замахнулась на него женщина.

Собравшийся народ неодобрительно загудел. А небритый мужик в майке и га-лифе сказал:

— Не трожь ты его, Орефьевна. Грех убогого обижать.

От этих слов Юшка почувствовал бесконечную к себе жалость.

— У, чумичка гризливая! — заговорил он тонким плачущим голосом. — Больно по личику вдарила. Так и грустит прибить меня до смерти, едовитка егупетска...

Он продолжал произносить странные, незнакомые слова, отчего все затихли, а сосед в майке сказал:

— Оставь ты его, Орефьевна, в покое. Может, его метка — тебе на счастье...

— Какое там счастье? — махнула рукой женщина. — На последние гроники купила мелу да синьки. Хотела себе хыть каку радость доставить... Ладно, усе! Кончилась спектакля, — восстановила она в голосе прежнюю свирепость. — Разбежались по угольям! И ты, убогий, чеши отседа!

Но Юшка, проводив печальным взглядом направившуюся к дому хозяйку, продолжал все так же сидеть на земле. Вытащил из-под себя полотняную сумку, полез в нее и достал оттуда четвертинку хлеба. Отрезал большим ножом горбушку, пожевал ее в задумчивости и вдруг, поднявшись с земли, подошел ко мне и замахал ножом у моей груди. Я отстранился инстинктивно, но Юшка тут же бросил нож на землю и, прижавшись ко мне, заплакал горько, по-детски, всхлипывая и жалобно скуля. Я погладил ладонью его стриженный затылок, и юродивый затих постепенно, продолжая бормотать что-то. Потом подобрал свой нож, суму и побрел неторопливо вдоль улицы...

Подходя к школе, я еще издали увидел Вову Невинного, который стоял возле цветочной клумбы, держа в руке розовый тюльпан.

— Собрался на свидание? — пошутил я.

— Да нет, — вздохнул Вова. — Сорвал цветок, а директор сказал, что цветы на клумбе — для всех. И велел мне стоять мне тут и держать цветок до конца пере-менки.

— Понятно. Ты сорвал аленький цветочек, и тебя настигла кара. Ладно, любитель ежеиков и тюльпанов, давай цветок сюда! Будем считать, что я сменил тебя на посту. Но больше так не делай!

Я потрогал его волосы, забрал у него тюльпан и вручил его подошедшей Нине Цупко.

В учительской, как в Госдуме, у каждого свое место.

В уголке за шкафом приютилась Нелли Геннадьевна. Как только выпадает свободная минутка, она тотчас принимается что-то вязать. У нее почти все вязаное, даже сумочка. Кажется, потяни платье Нелли Геннадьевны за какую-нибудь ниточку — и оно начнет, как у старушки из мультфильма, распускаться и распутываться.

Алла Геннадьевна сидит за общим столом. Шевеля губами, она читает в учебнике очередную главу, которую через пять минут перескажет детям.

Напротив нее — математик Николай Николаевич, старейший в школе учитель. Злые языки зовут его за глаза Кал Калычем. Он уже успел заполнить страницу классного журнала и перебирает рассеянно, будто четки, свои ключи. Ключей у него целая связка, как у апостола Петра. Говорят, иногда он шмякает ими нерадивых учеников по спине.

Ниночка Цупко пристроилась на торце стола. Она единственная в учительской, кто ничем не занят. Просто сидит и смотрит в окно, за которым мелькают макушки резвящейся во дворе ребятни.

В дверях появляется тощая фигура учителя рисования Виктора Викторовича. В руке у него жестяное ведро, на котором корявыми буквами черной краской выведено: «Школа № 3. Ведро № 2». Наверное, он использовал этот инвентарь для натюрморта.

В электрическом самоваре закипела, зашумела вода, и Нелли Геннадьевна, отложив вязанье, приступает к ритуальному действию: угощает нас своими пирогами. Андрей обычно дает им экзотические названия — «Тропикана», «Месть сарацина», «Мост Мирабо», «Грезы мерчендайзера» и тому подобное. На этот раз он предложил назвать пирог «Черничные ночи».

— Ну как, обжились тут? — уже в который раз спрашивает меня Николай Николаевич. — Или, как все молодые, скоро репатрируетесь? Всем хочется в метрополию, где хорошо и весело.

— Да нет, мне тут нравится.

— Это уже не та школа, что была, — вздыхает Николай Николаевич. — Да и вообще знания теперь мало кому интересны. Один из министров так и заявил: надо, растить культурного потребителя, способного пользоваться результатами творчества других... Непонятно только, откуда тогда возьмутся результаты творчества, если мы растим потребителя... Другой твердит: нужны не знания, а умения. А какие могут быть умения без знаний? Мы же не обезьяны.

— Наша школа делает все для того, чтобы убить любознательность, — поддерживает математика Ярышников.

— Образование в СССР было лучшим в мире, — продолжает Николай Николаевич. — Зачем его было губить?

— Не уверен, что оно было лучшим, — не соглашается Андрей. — Может быть, при той, авторитарной системе это был оптимальный вариант, но сейчас-то другое время. Как можно запрещать ребенку одеваться так, как ему хочется, или снижать оценку за то, что он высказал собственные мысли? Что может вырасти из таких учеников?.. Дети, слава Богу, теперь самостоятельней, свободней, и надо в них это развивать. Я видел школу, где ученики избирают свой парламент, сами принимают какие-то решения, сами выбирают, что для каждого из них интересно и какие уроки ему посещать, а что можно спокойно изучить дома. Это приучает их к ответственности, отстаиванию своего мнения.

— Ну, не зна-аю, — разводит руками Николай Николаевич. — По-моему, наоборот, это приучает к безответственности и необязательности, чего у нас и так в избытке.

— А чтобы выбирать для себя что-то, — поддерживает математика Виктор Викторович, — человеку надо сначала понять, из чего он, собственно, может выбирать. Положи перед ребенком морковку и жвачку — что он выберет? Вот вся наша культура и превратилась в жвачку.

— Все эти новации, инновации... — отзывается своим детским голосом Нелли Геннадьевна, — просто имитация прогресса. Прогресс ради прогресса.

— Ну а как без прогресса? — возражает Андрей. — Это все равно, что идти вперед, пятясь задом.

— Смотря каким задом, — хихикает Виктор Викторович.

В этот момент в учительской возникает зауч Мария Степановна, заполняя своей фигурой дверной проем.

— Не, вы гляньте на это дите! — призывно восклицает она. — Покажи-ка народу, шо у тебя на ногах!

Из-за спины Марии Степановны появляется симпатичная физиономия Наташи Миленок, девочки из моего девятого «А». Рядом с заучем она смотрится как приставленная к фолианту брошюра.

— Вот шо у тебя на ногах? — продолжает допрашивать ее Мария Степановна.

— Сменка, — тихо отвечает Наташа.

— Не, вы полюбуйте! Она на шпильках, как Мерелина Монро, и зовет это сменкой! А прическа! Ну, шо это за прическа? Берлога, а не прическа!

Наташа молча кусает губы и готова расплакаться.

— Мария Степановна, отпустите ее, пожалуйста, — просит Нина Михайловна. — Я потом с ней поговорю,

Мария Степановна подталкивает Наташу к двери и, устало поохав, идет к электрическому чайнику.

Андрей демонстративно обводит нас взглядом и разводит руками: мол, что я вам говорил?

— Между прочим, эта девочка в вас влюблена, — обращаясь ко мне, с мягкой улыбкой говорит Нина.

— Ничего удивительного, — отзывается Виктор Викторович. — Есть особый сорт девиц, которым непременно хочется совратить священника или учителя.

— Сегодня любовь вообще заменили сексом, — подхватывает Мария Степановна. — Романтическая любовь только в книжках.

— Ну, это вы преувеличиваете, — оторвавшись от учебника, возражает Алла Геннадьевна. — Любовь никуда не исчезла.

— Но сильно изменилась, — добавляет Нелли Геннадьевна. — Я вот недавно прочла, что, сейчас «в тренде» конфлюэнтная любовь.

— Это как? — живо интересуется Виктор Викторович.

— Это когда охи-вздохи сведены к минимуму. Пришел, увидел, полюбил. То есть влюбленность сразу же переходит в секс.

— Закон синергетики, — вздыхает математик Николай Николаевич и добавляет некстати: — Когда исчезает нечто большое и сложное, появляется много мелких систем и тварей.

— Как говорила тетя Песя, — улыбается Виктор Викторович, — влюбленность — это когда он идеал и совершенство, а любовь — это когда он козел, но другого тебе не надо...

— Виктор Викторович, попробуйте лучше пирог с клубничкой! — предлагает Нелли Геннадьевна.

— Клубничку я люблю. Но сладкого не ем — диабет второй степени.

— Виктору Викторовичу лучше бы соленый огурчик, — вставляет ехидно Мария Степановна.

— Весна, однако, скоро. А там и каникулы, — говорит, потягиваясь, учитель рисования. — Учительницу со стажем репортеры спрашивают: «Назовите три причины, почему вы пошли работать в школу?» Она отвечает: «Июнь, июль, август».

Раздается пронзительное, проникающее сквозь стены стрекотание звонка (Ермолаич раздобыл его в какой-то воинской части), и учителя, как солдаты, слышавшие звук трубы, дружно поднимаются, разбирают классные журналы, наглядные пособия и расходятся по классам. Сорок пять минут в учительской будет царить тишина...

Я выхожу последним, захватив с собой свернутую в рулон карту. Взираясь на второй этаж и медленно иду по коридору. Через щель приоткрытой двери шестого «А» видно висящее на стене наглядное пособие, изображающее кролика в разрезе. Нарисованный кролик похож на распахнувшего шубу эксгибициониста. Из-за двери раздается зычный голос Марии Степановны:

— Оно еще будет спорить со мной! Да кто ты такой? Говно из-под черной коровы... Ах, это тебе не нравится? Хорошо — из-под белой коровы.

Класс взрывается дружным смехом.

Я прикрываю дверь и бреду к своему десятому «А». Хотя он мог быть и без литеры — десятый в школе один.

Вход в класс — действительно, как выход актера на сцену. Выражаясь театральным языком — это всегда «волнительно». Помню, когда у нас была первая педпрактика, моя сокурница, закончив урок, вместо двери открыла большой шкаф и вошла в него — так переволновалась.

Вообще профессия учителя странная. Только успеваешь привыкнуть к классу и полюбить его — они уже покидают школу, и ты опять с новыми ребятами, которые тоже скоро уйдут. Между собой учителя редко дружат, потому что каждый ведет свой предмет и у каждого свой круг интересов. Так что жизнь учителя — это одиночество в толпе...

Я вхожу в класс и молча выжидаю, пока ребята, разгоряченные после большой перемены, успокоятся. Вроде затихли. Один только Олег Бесхлебный, на лицо которого попадает солнечный луч, все время вертится. (Надо сказать, у меня «хлебный класс». Еще есть Таня Булочка, Игорь Пирожков, Ваня Пшеничный.)

— Олег, успокойся! Разминку надо было делать на переменке.

— А шо оно в морду бье?! — возмущается Олег.

— Потерпи, скоро ему надоест тебя бить.

Класс весело реагирует на мою незатейливую шутку.

— Дежурный, кто сегодня не с нами? — традиционно начинаю я урок.

— Наташа Миленок.

— Я же видел ее сегодня.

— Она взяла рюкзак и ушла...

— Олег, можешь занять вакантное место. Тут солнца нет.

— Не, я тута привык.

Я смотрю на лица ребят и думаю: вот пройдет еще лет десять, они станут совсем взрослыми, у каждого будет своя жизнь. Кто-то умрет совсем рано, кто-то доживет до глубокой старости. Кому-то повезет в жизни, у кого-то будет несчастная любовь или другие неудачи. А пока они все равны...

В окне на фоне терриконов поднялся и завис большой ярко-желтый шар. Это буфетчик Ашот запустил в небо добытый им где-то метеозонд. Таким способом он дает знать, что в его заведении появилось бочковое пиво.

13

После уроков Ярышников, Покатило и я направились к Ашоту. Тут уже толпилась небольшая очередь, ожидающая, когда забойщик Сычугин заполнит, наконец, доверху большую пластмассовую канистру.

— О, сельская интеллихэнция! Мое почтение! Бонжур-тужур! — скоморошничая, приветствовал нас забойщик.

— Честь праці! — в той же шутовской манере отвечивал Иван Матвеевич.

— Не зря говорят, что двадцать процентов населения выпивают восемьдесят процентов пива.

— Потому что пиво — это жидкий хлеб. А значит, хорошо сочетается с водочкой, — отвечал Сычугини, с трудом стащив с прилавка заполненную канистру.

Мы взяли по кружке пива и уселись за столиком на весеннем солнышке.

— Противная сегодня история вышла, — отпив залпом полкружки, сказал Иван Матвеевич.

— Что случилось-то?

— Есть в восьмом «Б» такой персонаж — Боря Карнута. Сегодня черт-те что вытворял, чтоб привлечь к себе внимание. Я не выдержал, говорю: «Выйди из класса!» А он в ответ: «Мне и здесь хорошо». И продолжает сидеть... Вот скажите: что мне было делать?..

— Ну и что ты сделал?

— Вытащил его вместе с партией за дверь. Чтобы руками к нему не прикасаться. А что бы вы сделали в такой ситуации?

— Юмором их надо брать, — сказал я. — Больше всего они боятся быть смешными.

— Это верно, — согласился Матвейч. — Но не на всех действует.

— По мне, так лучше не обращать внимания на такие выходки, — сказал Андрей. — Это же восьмой класс. Ребята пытаются самоутвердиться, кто как может. Даже снежинки не похожи одна на другую, — сказал Андрей.

— Да ради Бога — пусть они все будут разные! Но не наглые и жестокие. К сожалению, какие школы не создавай, человеческую-то натуру не изменить, — сказал Покатило. — И, по-моему, все дело в генах...

— «Я прихожу, как призрак, я ухожу как тень», — пропел чьи-то стихи Андрей. — Вон туда лучше гляньте!

Мы с Иваном Матвеевичем повернулись в ту сторону, куда указал Андрей, и увидели на насыпи старика с крючковатой палкой в руке. Солнце было за его спиной путника, отчего седая его борода и белая панاما с обвисшими полями как будто светились сами по себе. Старик спустился с насыпи по тропинке и исчез.

Когда мы, покончив с пивом, двинулись дальше, то увидели его у пятиэтажек, рядом со столом, за которым шахтеры, попивая принесенное Сычугиным пиво, азартно гремели костяшками домино.

Один из доминошников протянул старцу стакан с пивом, но тот отказался, отведив тихим надтреснутым голосом:

— Спасибо, милоч! Но нет питья лучше, чем водица простая.

Один из игроков сделал знак головой рыжему пареньку, наблюдавшему за доминошным турниром, и тот направился к подъезду дома.

— Издала идешь, батя? — спросил мужик, предложивший страннику пиво. На его широком, красном от весеннего солнца лице виднелись черные точки от въевшейся в поры угольной пыли.

— От людей иду, — отвечал старик, — и к людям приду. Бога надо от сердца к сердцу нести.

— А где он, Бог твой? — спросил насмешливо Сычугин и принялся шумно перемешивать кости домино.

— А везде, — сказал старик, принимая с легким поклоном воду из алюминиевой кружки, принесенной рыжим парнем. — В былинке малой и в звезде далекой, в тваре ползучей и в птице летящей. И в каждой душе человеческой.

— Если он, твой Бог, повсюду, что ж он позволяет, чтоб на земле столько зла было? — спросил загорелый шахтер.

— А ты, милоч, хотел, чтоб всюду было приятно да благостно? Не было такого и никогда не будет. Семена добра и семена зла разбросаны по земле нашей грешной аки семя злаков и семя сорняков. И Господь наш — не поводырь и не надсмотрщик. Он — Создатель и Судия. Так что каждый из нас сам волен выбирать судьбу свою. Вслушайтесь в слово это. Судь-ба. Значит, суд Божий. И когда придет час Суда Божия, вот тогда каждому и воздастся по делам его... А что зло? Всяко зло — событие преходящее. Ибо правда всегда на стороне добра. И рано или поздно добро торжествует.

— Обычно когда уже поздно. Точняк, — хмыкнул Сычугин.

— А вы не бойтесь, милые, страданий, неудач аль хворей, — продолжал неторопливо старик. — Они суть чистилище земное для добра и для подвига. Ведь и Сын Божий прошел через искуc и томление духа, чрез плевки заплугаев, криводушие ближних и отречение учеников своих. Когда бродил он в Гефсиманском саду в печали, моля Отца своего, чтоб миновала его страшная чаша мук и страданий, что делали они, верные ученики его?.. Преспокойно почивали тут же, ря-

слов. Потому что не расслышали души его. И, быть может, как раз эта их глухота душевная и придала ему силы идти на муку мученическую. Ибо смертию своей он не токмо смерть свою попрал, но и смерть души человеческой. Потому что знал он, что ученики его поймут истинный смысл его слов позже и понесут его людям. Что смерть его не напрасна, что будет воскресение истинной веры, дающей людям силу и надежду...

Старец смолк, утомленный своей длинной речью, и застыл, склонив голову на руки, держащие высокий посох. Краснолицый шахтер потянулся было к костяш-кам домино, но что-то остановило его, и он убрал руки со стола.

— А ты где живешь, дедушка? — спросил он. — Я тебя в наших краях что-то не встречал.

— Странник я, — отвечал старик. — Вот передохну чуток и дале пойду.

— Ты богомолец, что ли? — строго спросил Сычугин.

— Человек я. Как и все мы — человеки. Ибо каждый из нас имеет *чело* — единый и неповторимый лик свой, и каждому отпущен *век* его.

Старец приоткрыл слегка дрожащей рукой ворот рубахи и, вынув наружу ви-сящий на суровой нитке потемневший серебряный крест, сказал:

— Когда человек является в этот мир, на челе его зарождается невидимая звезда, подобная этому кресту. Воковые лучи его — это жизнь наша во времени, что отпу-стил нам Господь наш. Поперечный же луч — это жизнь души нашей. Душа мо-жет устремиться вверх и приблизиться к Богу, а может и опуститься вниз, к гре-ховности, низости и подлости. Человек, живущий во грехе, может загубить свою душу бессмертную — ведь опускаться вниз легко и просто, иногда даже весело. А подниматься вверх — ой как трудно. Но зато — благодатно, свято и осмысленно...

— А скажи, дедушка, — сказал молчавший до этого немолодой шахтер с ко-роткой стрижкой. На правой руке у него не было трех средних пальцев, и он дер-жал спичечный коробок мизинцем и большим пальцем. — Почему люди хорошие и добрые на тот свет уходят быстрее, чем мерзавцы и прохиндеи?

— Эт точно, — подтвердил один из игроков. — Толян вон какой мужик был! И что? Двойню сиротами оставил.

— И вообще, за что Бог напустил на Россию такие напасти? — спросил шахтер с красным лицом. — Ни в одной стране столько людей не истреблено было за сто лет, как у нас! А теперь опять народ наш изводят. Одни жируют, на золотых уни-тазах сидят, а другие кой-как перебиваются. Где она, справедливость твоя?

Старец снял с головы панаму с обвислыми краями, поправил рукой редкие се-дые волосы и проговорил тихо:

— А не надо бояться и страшиться страданий. Ибо они суть испытание и закал-ка души нашей. Вслушайся, как звучит само слово это: *страдание... страда... рад...* Это значит, что если душа твоя не в дреме, а в труде неустанном, тогда лишь через страдания и труд сумеет она обрести покой и радость. Это наша плоть, оболочка земная, дряхлеет и старится, а душа человеческая возраста не имеет...

Старик смолк, и все молчали тоже, завороченные необычной речью стран-ника.

— Что тебе ответить на вопрос твой о земле нашей? — продолжал старик, обра-щаясь к шахтеру, задавшему вопрос. — Значит, Господь Бог любит Россию, раз посылает ей такие испытания... И не забывайте, что стадо Христово всегда нечис-ленно, а воинство сатаниное не устает множиться. Многие запустили сегодня в душу дьявола, вот дьявол этот и торжествует пока что победу... Ой, родные вы мои, еще немало испытаний ждет нас, немало будет жертв невинных. Потому что приходит время пятого зверя. Помните, как у Иоанна Богослова про то сказано! И когда снял он пятую печать, увидел я под жертвенником души невинно убиен-ных... И даны им были одежды белые, и сказано было, чтобы успокоились они

еще на время малое, пока сотоварищи их и братья не будут убиты, как и они, и не дополняют их число...

Старец перекрестился трижды, вздохнул скорбно и смолк.

— Ты что, присох там? — раздался сверху женский голос.

— Иду, иду, — громко отозвался парень, приносивший старцу воду, и, забрав кружку, неторопливо направился к подъезду.

— Почему чаще всего обижаем мы ближних наших? — проговорил старец в задумчивости. — Да потому, что обидеть их легко и неопасно. И еще потому, что знаем мы все их слабые струны, все их раны душевные, а потому и посыпаем эти раны солью памяти злобля...

— Да, так уж, видно, человек устроен, — согласился с ним шахтер без пальцев.

— Дело, милоч, не в том, как человек устроен, а как он душу свою обустроил. А за душою надо ухаживать, как за огородом, чтоб не зарастала она сорняками. Если хочешь радость *умножить*, надо *умно жить*. И помнить, что не вражда земная уязвляет любовь небесную. Нет, наоборот, это любовь небесная нисходит на землю, дабы убить вражду. Дабы пронести свет любви сквозь тьму и сень смертную. Потому что Бог есть любовь. Любовь Божия наполняет горняя и дольная, объемлет время и вечность, чтобы ожесточение и вражда растворились в живоносной и блаженной любви...

— Ты, дедушка, наверное, устал с дороги, — сказал пожилой шахтер. — Пойдем ко мне перекусим. Не Бог весть какой у меня обед, но червячка заморим.

— Спасибо, родимый, — отвечал старец. — Вижу, предложение твое искреннее, а потому и впрямь зайду, пожалуй.

Шахтер поднялся и увел старца в дом.

Доминошники не стали продолжать игру и тоже тихо разбрелись восвояси.

Мы же пошли дальше. Шли молча, и лишь Покатило повторял:

— Мудрый старик... Какой мудрый старик!.. А как хорошо сказал: судь-ба — это суд божий.

— Блажен, кто верует, — отозвался Ярышников. — Я думаю, господу Богу, если он и есть, до человека нет никакого дела. Да и, похоже, никакого смысла в этой жизни тоже нет... А по поводу того, что настает время пятого зверя, может, он и прав.

14

После духоты переполненного автобуса, в котором мы тряслись полчаса, рощица, через которую надо было пройти к реке, показалась нам раем. На берегу было уже много народу, но нам удалось устроиться в уединенном местечке на белом, теплом песке возле куста ивы.

— Как мало человеку надо для счастья, — бормотал я, когда мы, окунувшись в прохладную воду, улеглись на постилку. — «Мне много ль надо? Коврига хлеба. И капля молока. Да это небо, да эти облака...» Вчера в поселок приходил старец. Вы вслушивайтесь в слова, говорил он. Не-бе-са. Значит, там, наверху, нет беса и нет греха...

— Извините меня, ребятки, — раздался над нами хрипловатый голос.

Я приподнялся и увидел сидящего неподалеку от нас на бревне мужчину, на котором была черная роба и кожаные тапки.

— Извините, — повторил черный человек. — Нет ли у вас зажигалки?

Его темное, морщинистое лицо, обезображенное шрамом на левой щеке, походило на маску, из прорезей которой проглядывали голубые, совсем молодые глаза.

Я порывлся в сумке и протянул незнакомцу захваченный на всякий случай коробок спичек. Он зажег сигарету, затаился с наслаждением и, подняв голову вверх, выпустил струю дыма. Уходить странный человек не спешил.

— Я тут неподалеку работаю. В дурке. Это мне такую форму выдали, — сказал он, будто оправдываясь. — Знали б вы, что там, за забором, творится! Слов нет. Больные без простыней спят, кормят их хуже собак... Все воруют эти твари! А главное — у кого воруют!.. Перерезал бы сволочей! Ненавижу несправедливость!.. Из-за этого и сидел. А теперь работать никуда не берут. Пришлось здесь устроиться... Но лучше опять в зону пойду. Ничего я тут не понимаю. Столько сволочей появилось. Ну, ничего, всем воздастся...

Он поднялся и медленно побрел в сторону рощицы.

— Вот тебе и суд божий, и ангел мщения, — сказал я, глядя, как черная фигура исчезает за кустами. — Тот старик, про которого я тебе рассказал, тоже предрек, что настает время пятого зверя.

Откуда-то слева приближалось, накатывало на нас гулкое облако музыки, а вскоре показался несущий ее теплоход. Через несколько минут музыка вновь удалась, стихла, а до берега только сейчас добежали, захлопали поднятые теплоходом волны.

Я взглянул на Светлану и увидел, что из одного из ее закрытых глаз покатились две слезинки.

— Ты что, Светик? — спросил я.

— Не знаю, — сказала она. — Когда очень хорошо, всегда грустно. Подумалось: как хорошо быть молодым. И что это рано или поздно пройдет.

Она открыла свои большие серые глаза и произнесла тихо:

— Ты знаешь, я очень люблю тебя. Мне так хочется, чтобы мы...

Вдруг она смолкла на полуслове и испуганно ойкнула. Я взглянул в ту сторону, куда она смотрела, и увидел, как из-за рощицы быстро выползает огромная синюшная туча, из нижнего края которой, будто кишки из расплосованного брюха, выпадают и клубятся упругие, крученые темные облака.

Едва мы успели собрать вещи, как на землю упали первые редкие крупные капли дождя: туча, уже перекрывшая полнеба, посылала первых вестников грозы, чтобы прощупать землю, прежде чем обрушить на нее свои потоки.

Когда передний край тучи закрыл солнце, все вокруг, как по мановению, стихло. Даже легкий ветерок, до этого шевеливший листья деревьев, замер, притаился. Так замолкает только что настроивавший инструменты оркестр, чтобы через минуту грянуть слаженно и мощно.

Туча между тем продолжала, клубясь, заполнять все небо, и казалось, что это она толкает впереди себя спрессованный воздух: внезапный и резкий порыв ветра согнул кроны деревьев, поднял вверх пыль, щепки, сухую траву и стремительно понес их вдоль берега. Сухой и горячий песок бил по глазам, больно сек кожу.

Мимо пробежала девочка, придерживая двумя руками платье и время от времени оглядываясь назад — то ли отворачивая лицо от ветра и пыли, то ли пытаясь разглядеть кого-то в сгустившейся свинцово-серой мгле.

Перекрывая все звуки, надсадно рычал, буксуя в песке, чей-то мотоцикл. Наконец, он вырвался из песочного плена и умчался так стремительно, будто его вместе с кружащимися в воздухе бумажками, пакетами и полиэтиленовыми бутылками унес, смел с берега неукротимый поток воздуха.

Вдали, за рощицей, показались изогнутые полосы дождевых струй, и через несколько минут они уже громко молотили по вздыбленной ветром поверхности реки. Гигантской фотовспышкой полыхнула молния, и следом, почти без паузы, раздался — казалось, совсем рядом — оглушающий треск грома.

Мы добежали, наконец, до ближайшего навеса и влились в толпу таких же, как мы, насквозь промокших людей, охваченных возбуждением от неожиданно приключения.

На берегу уже не осталось никого. Лишь трое мальчишек, восторженно вопя, продолжали барахтаться в реке.

Вспышки молний постепенно удалялись вместе с сопровождавшими их ворчливыми раскатами грома, но дождь, слегка умерив прыть, продолжал по-прежнему лить не переставая. Трудно было поверить, что еще совсем недавно тут светило солнце и все изнемогало от жары.

Светлана поцеловала меня в щеку и сказала:

— У тебя кислое лицо. В самом прямом смысле.

— Значит, это был кислотный дождь, — сказал я. — И твои любимые лягушати вымрут, как динозавры. А у нас выпадут волосы, а кожа пойдет волдырями... — Болтушка, — сказала она и закрыла мой рот поцелуем.

Я прижался к ней всем телом, ощущая исходящее от нее влажное тепло и вдыхая приятный запах ее волос.

«Странное дело, — подумал я. — Нас особенно тянет друг к другу, когда мы испытываем какие-нибудь, пусть даже крошечные, потрясения...»

— Свет, — сказал я. — А может, ты переедешь ко мне?

Она не успела ответить, потому что в это время, вынырнув из-за деревьев, появился большой синий автобус, и все бросились наперегонки занимать в нем места.

Сидеть в сухом теплом месте, слушая, как по железной крыше громко барабаният капли дождя, было приятно и уютно.

— Я хочу в этом году попробовать поступить в мединститут, — сказала Светлана. — Уже подала документы.

— Значит, ты скоро уедешь?

— Экзамены в июле. Но мне надо на днях съездить туда, кое-что разузнать...

— А сколько лет учатся в меде?

— Шесть.

— Понятно.

— Что тебе понятно?

— Ничего.

Вдали показались очертания поселка. Похоже, дождевая туча миновала его — асфальт тут был сухим, пыльно-серым, и трава не сияла той изумрудной зеленью, какой светились еще совсем недавно пронесившиеся мимо поля.

Мы молча прошли по железнодорожной насыпи и, дойдя до улицы, где стоял Шурин дом, холодно попрощавшись, разошлись, можно сказать, скатились по разные стороны земляного перешейка.

15

Открыв дверь, я бросил в прихожей сумку и направился в комнату. И вдруг услышал свистящий шепот:

— Не надо включать свет!

Но я уже успел нажать выключатель и увидел, что на кровати, прикрывшись простыней, лежит Наташа Миленок.

— Потушите, пожалуйста, свет! — умоляюще произнесла она.

Я щелкнул выключателем и спросил, усевшись в кресло напротив кровати:

— Ну и что ты здесь делаешь? И вообще — как ты сюда попала?

Наташа долго молчала, продолжая неподвижно лежать на кровати. И вдруг, приподнявшись, затараторила бойко, будто озвучивала зазубренный текст:

— Я люблю вас. Я очень люблю вас, Сергей Владимирович! Вы не бойтесь, я уже не девушка, я уже два года живу с женщиной. Но я не люблю его. Я совсем не люблю его. Он угрожает, что убьет меня, если я уйду от него. Но я ничего не боюсь. Потому что люблю вас...

Я вздохнул и, поднявшись, направился к двери.

— Куда вы? — с испугом спросила Наташа.

— Пойду отрублю себе палец, — сказал я мрачно. — Как отец Сергей.

— Не надо ничего отрубать!

Я засмеялся и, снова усевшись в кресло, спросил:

— Ты что творишь, ребяенок?

— Я не ребенок.

— А если ты не ребенок, то должна кое-что соображать.

— Я просто очень люблю вас.

— Как у вас все просто!.. Ну хорошо, допустим, я прилягу рядом с тобой...

— Да!

— А дальше последует такая коллизия: меня завтра попрут из школы, тебя опозорят на весь поселок...

— Ой, да бросьте вы, Сергей Владимирович! Скажите лучше: я вам нравлюсь?

Я же вижу, как вы на меня смотрите.

— Ты очень привлекательная девушка. Но неужели ты не понимаешь, что...

— Что я не понимаю?

— Все, моя радость, разговор окончен! А я пошел заваривать чай. И когда вернусь — чтоб ты была одета!

Я включил телевизор и отправился на кухню.

Вернувшись с чаем и конфетами, я увидел Наташу уже в джинсах и кофте. Она сидела на краешке прибранной кровати и внимательно смотрела на экран телевизора.

— Ты так смотришь, будто первый раз телик увидела, — усмехнулся я.

— А-а, это старый фильм! Я его уже смотрела, — разочарованно протянула Наташа, оторвав взгляд от экрана.

— А я люблю старые фильмы. И старые книги. Как говорил один мудрец, вновь прочитать хорошую книгу — все равно что встретить старого друга.

— Ой, Сергей Владимирович, вы такой молодой и такой старомодный. Даже язык у вас книжный.

— Наташ, когда я рос, у меня не было ни айфонов, ни смартфонов. Поэтому я читал.

— И у меня нет айфона, — сказала Наташа. — И уже год, как телика нет. Батяка пропил. Все обещает новый купить... А кто такой отец Сергей?

— Я потом дам тебе почитать. А сейчас давай пить чай! — Я подвинул к кровати маленький столик. — Сколько ж ты тут валяешься? Небось есть хочешь? Подожди, я принесу, как вы говорите, хавчик.

— Единственное, чего я боюсь, — сказал я, наблюдая, как Наташа с аппетитом уплетает принесенные бутерброды, — так это того, что ты затаишь на меня, как говорили раньше, недоброе чувство.

— Ничего я не затаю.

— Тем не менее, пока ты пьешь чай, давай я расскажу тебе одну историю... Давным-давно жила-была одна амазонка. Звали ее Ипполита. Знаешь хоть, кто такие амазонки?

Наташа, продолжая жевать, молча кивнула головой.

— Но Ипполита была не просто амазонкой. Она была царицей амазонок. Как-то раз на них напали греки. Они ранили Ипполиту и даже хотели ее убить. Но их командир Тезей приказал оставить ее живой. И так в нее влюбился, что сделал ее своей женой.

— И она согласилась?

— Тогда про это не спрашивали... А потом она и сама полюбила его. И у них родился сын. Назвали они его так же, как и его мать, — Ипполитом.

— Как в «Иронии судьбы»?

— Да, Ипполитом. Спустя год амазонки узнали, что их царица жива. И решили освободить ее.

— И освободили?

— Не угадала. Она взяла в руки меч и встала рядом с мужем. И амазонки ее за это убили.

— Какая грустная история, — сказала Наташа.

— Но это, как говорится, присказка. Главное — впереди. Прошло еще много лет. И однажды Тезей встретил очаровательную, как ты, девушку по имени Федра, женился на ней...

— И забыл Ипполиту?

— Наверное, помнил. Раз столько лет не женился... Девушка Федра была почти одного возраста с Ипполитом...

— И они полюбили друг друга?

— Почти угадала. Федра полюбила его, а Ипполит ее — нет. Может быть, она и нравилась ему, но ведь она была женой его отца...

— Ух ты, как в сериале!

— Однажды она призналась Ипполиту в своей любви. Но Ипполит не ответил ей взаимностью.

— Бедная Федра!

— И в порыве отчаяния она приняла яд.

— Ой!

— Ну, а теперь главное. Прежде, чем покончить с собой, она написала мужу записку. О том, что это Ипполит воспылал к ней страстью и насильно овладел ею.

— То есть изнасиловал ее? Но ведь он не делал этого!

— Это была женская месть за то, что ее отвергли...

— Как грустно!

— Теперь ты поняла, зачем я рассказал тебе эту историю?..

— Ой, я бы вас слушала и слушала.

— Хорошо, объясню прямым текстом. Я не хочу, чтобы ты возненавидела или презирала меня. За то, что я не воспользовался твоей глупостью и наивностью... Теперь ты поняла меня?

Наташа молча кивнула головой.

— И, я думаю, тебе уже пора домой.

Наташа закрыла лицо руками и опустила голову.

— Ну, ты что? — Я подошел к ней и стал гладить ее волосы, пахнущие теми же духами, что и закладка, которую она оставляла в своей тетрадке.

— Я домой не пойду, — заговорила она, прижимаясь ко мне. — Отец сегодня пьяный, гоняется за всеми... Когда тверезый, он тихий, подарки нам дарит. А напьется — как малоумный. Мама Дашку взяла и ушла к бабушке...

— Может, вызвать полицию, чтобы унять его?

— Не, еще хуже будет. Один раз участковый приходил, еле-еле его унял, из пистолета стрелял даже... А потом такое было...

— Господи, кто бы мог подумать! — сказал, подойдя к окну. — Ты всегда аккуратно одета, школу никогда не пропускаешь...

— Да что вы о нас знаете, Сергей Владимирович?! На занятиях мы все как на празднике. По крайней мере, на ваших уроках. А по домам расходимся...

— Да, Наташ, ты права, я почти ничего не знаю о вас.

— А вы не будете теперь меня сторониться? — помолчав, спросила Наташа.

— Нет, конечно. Все как было, так и останется... А кстати, как ты сюда попала?

— А у вас фортка была открыта. Я шпингалет опустила и залезла.

— Какой ты еще ребенок, Наташка! — сказал я, любуясь ею. — И я очень хочу, чтоб твоя жизнь сложилась хорошо... А куда ты сейчас пойдешь, если у тебя дома такое творится?

— К баушке... А можно, я еще немного здесь побуду?..

Через полчаса она поднялась и сказала:

— И все равно я лучше, чем ваша рыжая медичка.

— Да она вроде не рыжая.

— Рыжая, рыжая! А мы когда-нибудь все равно будем с вами вместе.

Я хотел чмокнуть ее на прощанье в щечку, но Наташа быстро поцеловала меня в губы и выпорхнула в то же окно, через которое проникла сюда. В комнате остался лишь легкий аромат ее духов, а на губах — аромат, похожий на запах парного молока.

Я посмотрел в открытое окно и подумал, что Павел Николаевич, наверное, прав: действительно, хорошие поступки скучны и неинтересны.

Дома сидеть не хотелось. Я вышел, поднялся на насыпь и пошел в ту сторону, где краснели огни терриконов. Слева от насыпи, в деревенской части поселка, было уже совсем темно. По вековой привычке люди здесь ложились спать рано.

Сотрясая насыпь, мимо прошел маневренный тепловоз, заставив меня сойти на время вниз. Тепловоз выбросил в тишину ночи короткий, похожий на мычание гудок и, обдав меня жаром вибрирующих моторов, унес в темноту затихающий перестук колес. Лишь два его красных глаза долго еще светились вдали...

16

На следующий день я с утра отправился в школу, чтобы сдать отчеты. Сидевший во дворе в тени тополя Ермолаич поманил меня пальцем и, глядя на меня в упор сквозь свои выпуклые линзы, сказал со значением:

— Николаич просил, шоб ты, это, как явишься, зашел к нему.

«Неужели ему что-то известно про Миленок? — подумал я. — Тут же все на виду, как в коммуналке».

Постучав, я заглянул в кабинет и увидел, что Курепов там не один — у стола сидел математик Николай Николаевич. Я тихонько прикрыл дверь и тут же услышал зычный голос Павла Николаевича:

— Сергей Владимирович, не уходите!

Минут через пятнадцать дверь открылась, и директор, попрощавшись с математиком, пригласил меня в кабинет. Плотно закрыл дверь и, добравшись до стола, сказал:

— Уйти старик на покой хочет. А заменить его некем. Но вроде бы удалось уговорить его поработать еще годик, — сказал Павел Николаевич и замолк надолго, глядя в окно.

— Мне Николай Ермолаевич сказал, что вы меня хотели видеть, — сказал я.

Курепов ничего не ответил, продолжая смотреть в окно.

— Не могу поверить, — наконец произнес он. — Вот уж от кого никак не ожидал, так это от тебя.

— О чем вы, Пал Николаич?

— А ты будто не знаешь? — спросил он и добавил несколько крепких слов.

— Скажете — буду знать.

— В облоно, или как там оно теперь называется, пришло письмо. За твоей подписью.

— Что за письмо?

— Ну, тебе лучше знать, писатель.

— Пал Николаевич! Да объясните вы толком, что к чему!

— Чего объяснять? В облоно пришло письмо. Где ты режешь правду-матку.

— Пал Николаевич, ей-Богу, не понимаю, о чем вы.

В дверь заглянул Ермолаич.

— Подожди, я занят! — рыкнул директор и спросил меня тихо: — Ты что, правда ничего не знаешь о письме?

— Могу поклясться на школьном уставе.
— Да подожди ты, не до шуток! Давай-ка присядь!
— А о чем письмо-то?
— О чем. Обо мне, естественно. Про то, какой я нехороший человек. Держи-морда, казнокрад, аморальный тип...
— А чего вы решили, что я — автор этого письма?
— Потому что под ним твоя подпись.
— Но это ж легко проверить. Подпись-то наверняка подделана.
— Дело в том, что письмо уже взято на контроль. А уж почему там твоя подпись, этого я не знаю... Хотя, наверное, в этом есть своя логика. Мол, появился в школе новый человек, все увидел свежим глазом... А может, и тебя заодно хотели подставить... Точно это не ты писал?

— Павел Николаевич!..

Курепов вновь уставился в окно, за которым маячила фигура Ермолаича. Наконец произнес негромко:

— Да я и сам готов уйти... Но хотелось оставить что-то после себя. Могли бы с тобой сделать красивую школу...

Он махнул безнадежно рукой и добавил:

— Ладно, как будет — так будет... Иди, отдыхай!

17

Вернувшись домой, я долго стоял под душем, будто желал смыть впечатление от неприятного разговора, и вдруг услышал, как заверещал дверной звонок.

Наспех промокнувшись полотенцем, я накинул халат, открыл дверь и увидел на пороге Нину Михайловну.

— Нин, ты хоть бы позвонила, — сказал я, уже понимая, зачем она пришла. — Извини, что я в таком виде.

Нина прошла в комнату и устало опустилась в кресло.

— Чудный сегодня день, — сказал я, прикрывая окно. — А вчера на речке такая грозица была.

Она ничего не ответила, продолжая сидеть все с тем же отрешенным видом. Закинула ногу на ногу, охватив руками миниатюрное свое коленце, и сказала, слегка покачивая головой из стороны в сторону:

— Нет, не надо мне было приходить. И Павел Николаевич просил меня этого не делать.

— Это ты про письмо, что ли? Так я все Курепову только что объяснил.

— Что ты объяснил?

— Что я к этому не имею никакого отношения. Неужели и ты поверила, что я мог написать этот пасквиль?

— А откуда ты знаешь, что там написано?

— Я ж сказал: я только что был у Курепова, и он мне все выложил.

— Ты был у Паши? А он мне ничего не сказал. Хотя ему сейчас не до этого... Но ведь письмо подписано тобой... Самое отвратительное там — о наших с ним отношениях... Если бы ты знал, какой Паша замечательный человек. Ты даже не представляешь, какой он...

На глазах Нины появились слезы. Чтобы скрыть их, она встала и подошла к окну.

— Я знаю, кто это сделал, — сказала она, не поворачиваясь ко мне. — Я почти уверена в этом.

— Ниночка, послушай, мерзость анонимок как раз в том, что начинаешь подозревать всех и вся...

— Нет-нет, теперь я точно знаю, кто это. Он давно и тихо ненавидит Пашу, а заодно и меня. Хотя ты, конечно, прав: лучше никого не подозревать... Но ведь наверняка придет комиссия... Сколько грязи будет! Паша уже готов подать заявление об уходе.

— Давай так договоримся, — сказал я. — Завтра же я еду в областной комитет образования. И объясню там, что моим именем кто-то воспользовался. И постараюсь убедить их выбросить эту анонимку к чертям собачьим.

Проводив Нину до двери, я рухнул на кровать, все еще пахнущую Наташиными духами, и почти мгновенно уснул.

18

На следующий день я добрался до комитета образования и тут же был ошарашен известием о том, что начальник отбыл в командировку. Увидев, как я расстроился, секретарша, строгая седовласая дама, сказала сочувственно:

— Вам надо было позвонить. А так зря время потеряли. У вас что-то срочное?

— Ну как сказать, — замылся я. — В общем-то, срочное. Это связано с судьбой нашей школы.

— Тогда, может быть, переговорите с Алексеем Валерьевичем? Он у нас область курирует. Его дверь напротив приемной.

Я постучал в массивную, окрашенную белой краской дверь и, приоткрыв ее, от неожиданности застыл на месте. За письменным столом в просторном кабинете сидел Лешка Венгерский, мой приятель по общеаг.

Леха был на два курса старше, но подружился я с ним не в институте, а в общеаг. На последнем курсе он вдруг решил поселиться в общежитии, потому что в очередной раз повздорил с родителями. Четвертый наш жилец в это время уехал домой, чтобы там писать диплом, и Лешке удалось как-то договориться с комендантом занять его койку. Как человек общительный, постоянно сыпавший анекдотами, он быстро сошелся с нами и прокантовался в общеаг до защиты диплома.

Увидев в дверях фигуру посетителя, Венгерский собрался уже произнести дежурную фразу, но вдруг заулыбался во весь рот и, театрально вытянув вперед ладонь, сказал:

— Стой, замри!.. Надо ж! Как в анекдоте про второе пришествие. Спаситель спрашивает Рабиновича: «Вы помните меня?», а тот ему: «А ну сделай так!» Я-то тебя, Серега, помню только в трениках и джинсах. А ты нынче — прям джентльмен. Ну, садись, вещай!

— Лучше расскажи, как ты тут оказался.

— Да это мой батя устроил. Потом поведаю. Вечерком, надеюсь, встретимся? В неформальной, так сказать, локации. А че это тебя занесло к нам?

Я присел на стул возле Лехинога стола и принялся рассказывать все по порядку.

— Ты понимаешь, — закончил я, — если Курепова уберут, все рухнет. Нам передают бывший барский особняк. Там такую школу можно отгрохать! Всем ее показывать будете. Но это по силам только Курепову. Железный мужик. Он в горячих точках был. Сына на нашем кладбище схоронил... Нельзя его убирать!

— Ну, не знаю, не знаю. Тут как в байке про Рабиновича. «Скажите, Рабинович, ви живете-таки по закону или по совести?» — «Таки по ситуации...» Так вот скажу тебе честно — ситуация хреновая. Раз письмо поступило, надо реагировать.

— Подожди!.. Ситуация-то простая. Вы должны ответить автору. Так? Но формально автор этого письма я. Так? И я отзываю свое письмо.

— Ха! Если б все было так просто! Даже если письмо анонимное, мы все равно должны на него реагировать... Кстати, недавно у меня был такой случай с анонимкой. Пришла из одного района жалоба. Якобы от группы родителей. Хотя за

километр видно, что все подписи одной ручкой написаны. Суть письма в том, что, мол, новая училка совращает их отроков. Пришлось переться в эту чертову деревню... И что ты думаешь? Совратительницей оказалась Линка Марченко. Может, помнишь ее — такая немножко пухленькая, но оч симпатная. И вся такая домашняя. Оказалось, эту дуру угораздило связаться со старшекласником. Когда же она решила свою лавстори прекратить, юный хахаль начал ее шантажировать... Ну, короче, встретился я с этим отроком. Сначала хотел ему морду начистить. «Что ж ты, говорю, сука, делаешь? Ты же не мужик, а гнида». Он начал было хамить — не твое, мол, дело, вали отсюда. Но потом сник и пообещал оставить Линку в покое. Линке я тоже прочел лекцию, а вернувшись, сказал начальнику, что факты не подтвердились... И что ты думаешь? Через неделю вновь письмо... Тут уж мне досталось по полной. Чуть не уволили.

— А начальник твой — нормальный мужик?

— Да вроде ничего. Но он как Рабинович — все решает по ситуации. Если учует, что может быть скандал, точно нашет комиссию... Так что тебе лучше дожидаться его. Есть где остановиться?

— Ну, разве что в общежитии.

— Ладно, можешь пару дней пожить у меня. У меня теперь отдельная хата.

Вечерком я зашел к Лехе — он обитал в двухкомнатной квартире, которую ему купили родители. Мы посидели за бутылкой коньяка, повспоминали общагу, знакомых девиц и отправились спать.

Венгерский, возбужденный алкоголем, долго не мог уснуть и продолжал сыпать историями о своих амурных похождениях. В какой-то момент я задремал под звуки его монотонного голоса, а проснувшись от двух мелодичных ударов старых настенных часов, услышал, что он все еще продолжает что-то рассказывать — на этот раз про какую-то даму, которую он соблазнил недавно прямо на пляже...

На следующий день Алексей сообщил мне, что его начальник задерживается на два-три дня, и я понял, что оставаться тут дальше бессмысленно.

В ожидании автобуса я несколько раз звонил Светлане, но ее телефон был вне зоны доступа.

19

Я попросил водителя остановить автобус в том месте, где прошлой осенью мы шли со Светланой. На этот раз проселочная дорога была почти ровной — похоже, по ней недавно прошел грейдер.

Здание «дворца», и ранее производившее унылое впечатление, теперь, обезлюдив, выглядело совсем мрачным, как огромный склеп. Миновав фасад, я собирался свернуть в липовую аллею и вдруг услышал, что внутри здания раздаются глухие удары. Я остановился и прислушался. Странный шум исходил из первого этажа — оттуда, где располагался бывший зал.

Заметив у одного из заколоченных окон приставленный к стене ящик для овощей, я встал на него и пошевелил закрывавшие окно доски. Две из них были оторваны внизу вместе с гвоздями и легко отошли в сторону. Я протиснулся в образовавшийся проем и через окно, стекло которого было разбито, проник внутрь здания. Осторожно пошел вдоль стены и, добравшись до приоткрытой двери зала, увидел стоящую на полу шахтерскую лампу, а рядом с ней — сидящего на корточках человека, который занимался тем, что методично отковыривал длинным ножом паркетину за паркетинной.

Когда мужчина повернулся, чтобы уложить оторванные дощечки в уже наполненный доверху мешок, я узнал в нем забойщика Сычугина.

— Та-ак, — произнес я, широко открыв дверь. — И что мы тут делаем?

в пустом зале, где уже не было ни мебели, ни штор, мой голос прозвучал громко и гулко.

От неожиданности Сычугин резко встал и, подняв с пола лампу, направил ее на меня.

— От это да! — сказал он чуть ли не радостно. — Как говорится, на ловца и зверь. Я как раз хотел потолковать с тобой, господин учитель... А тут ты и сам нарисовался. Скажи мне, фраерок, какого хрена ты клеишься к моей Натахе?

— Ты знаешь, что теперь это здание школы? — продолжал я, не слушая его. — А ты мародерствуешь, уродуешь эту красоту.

— А ну тормозни базар! Ишь, разошелся, пида-гог!

— О, господи! Да что ж вы за народ? Неужели и вправду за каждым надо жандарма ставить?.. Здесь будет школа, твои дети тоже тут будут учиться...

— Школа здесь будет! Не будет тут никакой школы! Для Волобуева главное — вонючий интернат отседа выселить. А он ремонт за счет шахты сделает и устроит тут апартаменты. Так что предьява твоя не по адресу... Понял, интеллижопия? И вали отсюда, пока я тебе кое-что не отрезал!

— Что у вас за страсть такая — все рушить, везде поганить? — не мог я остановиться. — Говорят, вчера какие-то твари залезли в детский сад, все там изуродовали, изломали. И даже на пол нагадили... Этот паркет, что ты ковыряешь, пролежал тут двести лет и лежал бы еще столько. А ты его уродуешь, курочишь, тащишь себе, как крысятник!

— Ну, за крысятника ты, падла, ответишь!

Сычугин угрожающе двинулся на меня, держа в руке нож. Отступая, я споткнулся то ли о доску, то ли о кирпич и, грохнувшись с размаху на спину, ударился головой обо что-то твердое. Последнее, что я увидел, были возникшие перед глазами сыплющиеся откуда-то сверху лепестки цветов. Я знал, точно знал, что это за цветы, даже ощущал их запах. Но никак не мог вспомнить, как они называются. Лепестки цветов закружились быстро по спирали и исчезли, улетели куда-то вниз, будто их затащила, высосала в себя невидимая воронка...

...Когда я пришел в себя, то увидел над собой белый потолок и услышал голос Светланы:

— Сережа, милый, как ты?

— Света? — я не мог понять, где я нахожусь.

— Тебя ночью сюда привезли. Ты хоть помнишь, что с тобой случилось?

— Я вечером был во дворце...

Я попытался приподняться, но, ощутив острую боль в голове, вновь опустился на подушку.

— А ты почему здесь? — спросил я. — Ты же собиралась уехать.

— На автобус опоздала, а на попутке вечером побоялась ехать... И слава Богу, что осталась! Как чувствовала... А ты знаешь, кто нашел тебя? Юшка, местный дурачок.

— Он не дурачок.

— Он проходил мимо, услышал шум и залез в окно. Потом позвал людей... Ладно, ты молчи, тебе покой нужен...

И, как часто с ней случалось, Светлана, заулыбалась и заговорила весело:

— А к тебе чуть ли не целый класс рвался. Не знала, что у тебя такая популярность. И еще ваш директор приходил.

— Скажи, долго мне тут валяться? Мне нужно в город съездить.

— Успеешь. Главное, что ты живой и что мы вместе. Правда?

У меня не было сил поднять голову, и я лишь молча моргнул глазами.